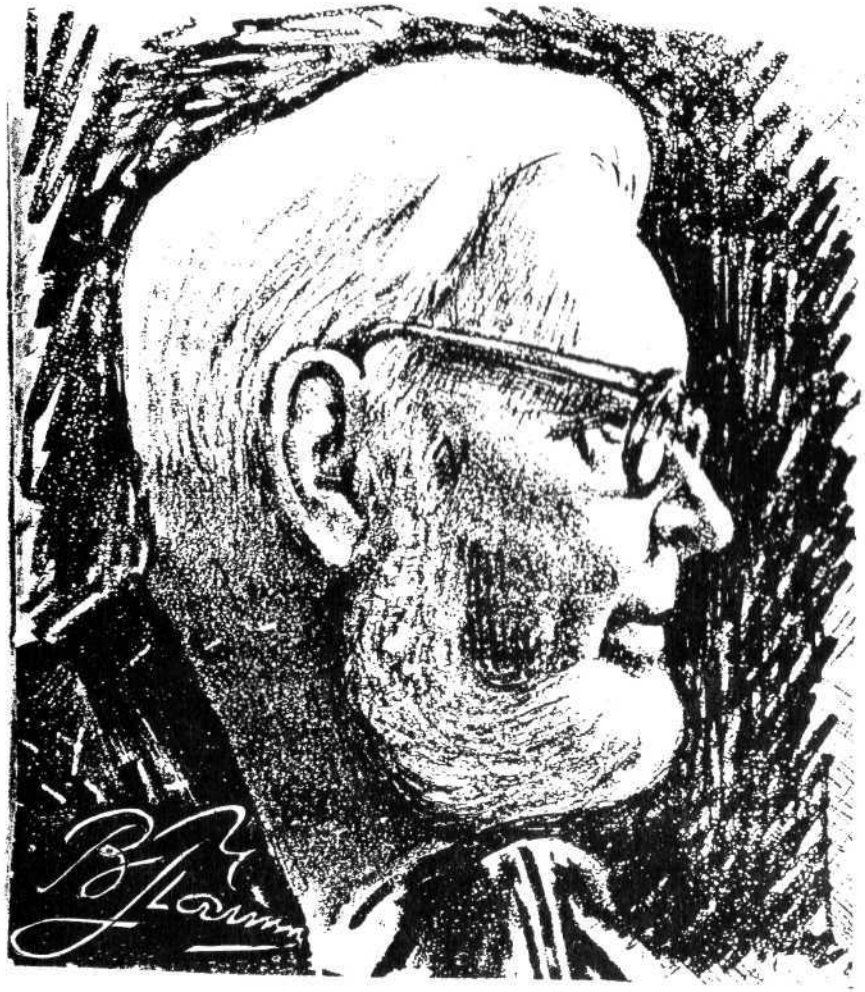

Виталий Пашин

ВОТ ТАКОЕ КИНО...

Рассказы

«Литературная Кострома», 1996 г.
Специальный выпуск

В сборник юмора и сатиры «Вот такое кино...» включены произведения разных лет, по не зависящим от автора причинам не попавшие в одиннадцать его предыдущих книг. Это новеллы мемуарного характера, юморески, прозаические пародии.

Новая книга Виталия Пашина посвящена «двойному» его юбилею: 70-летию со дня рождения и 35-летию выхода в свет его первой книги, редактором которой был известный писатель-юморист Леонид Ленч.

Рассказы Виталия Васильевича Пашина печатались в журналах «Крокодил», «Сибирские огни», «Урал», «Уральский следопыт» и др., переводились на немецкий, болгарский, словацкий и монгольский языки. В год 50-летия Победы его книга фронтовых былей «Ходи веселей, Кострома!» была отмечена премией Костромской областной администрации. А выпуск этого сборника осуществлен при финансовой поддержке администрации города Костромы и ТОО «Кондор».

КАК Я ПОПАЛ В ПИСАТЕЛИ

А началось все это сразу после окончания войны. Наш истребительный авиаполк стоял на окраине Ораниенбурга — небольшого городка в сорока километрах от Берлина. Мирные аэродромные будни были нам в ту пору еще в новинку. Мы никак не могли представить себе погожее утро без гула самолетных моторов, подогреваемых механиками перед вылетом, без звездопада ракет с командного пункта, без суеты и ругани мотористов, перекатывающих от самолета к самолету тяжелые баллоны со сжатым воздухом...

Теперь нас сбрасывал с жестких матрацев не истошный крик стартеха: «Боевая тревога!», а вполне благозвучный тенорок дневального: «Подъем!». Странно это было — начинать день с физзарядки, умывания, завтрака в столовой, где пахло вкусной и здоровой пищей, а не пробензиненными комбинезонами технарей. В распорядке дня появилось «личное время» и раз в неделю выходной.

Впрочем, такая вольготная жизнь не могла длиться вечно. Перемена наступила после того, как однажды при построении на ужин дежурный по части заметил у кого-то из наших ребят спрятанную в рукав гимнастерки бутылку с трофейным спиртом.

Вечером того же дня заместитель командира полка по политчасти Середа собрал технический состав всех трех эскадрилий и произнес короткую, выразительную речь:

— Дурные наклонности у военнослужащего проистекают от трехразового калорийного питания и безделья. Не будем уточнять, кто из великих вывел эту аксиому, а лучше организуем в полку художественную самодеятельность. Музыканты, певцы, комики и прочие народные таланты у нас есть, и если у них самих не хватит мужества признаться в этом...

Замполит сделал паузу и, сообразив, что в данном случае угроза, пожалуй, неуместна, завершил фразу своей излюбленной концовкой:

— То такого явления в гвардейском авиационном орденов Суворова и Кутузова полку быть не может!

Меня зачислили в драмкружок. Я не возражал, ибо по опыту, приобретенному в авиашколе, знал, что сцена дает военнослужащему немало льгот и послаблений. Его не посылают на выходной в наряд — репетиция. Этой же причиной всегда можно объяснить свое опоздание на вечернюю поверку, свое неучастие в таких массовых мероприятиях, как наведение порядка в казарме и уборка территории.

В первые послевоенные годы было очень трудно с подбором репертуара для солдатской художественной самодеятельности. Особенно острый дефицит ощущался в веселых одноактных пьесах. Кое-как мы раздобыли и поставили чохом полдюжины скетчей Леонида Ленча и Виктора Ардова. Потом так же нерасчетливо быстро освоили чеховское водевильное наследие, переиграли сценки из комедий Гоголя, Островского, прочих классиков. И выдохлись.

А замполит раз от разу все с большей настойчивостью требовал к каждому празднику полного обновления репертуара. Дело в том, что постановки нашего драмкружка, как на грех, очень пришлись по душе начальнику политотдела корпуса — большому знатоку театра и ценителю юмора. Представляете, какой бы удар был нанесен престижу гвардейского истребительного орденов Суворова и Кутузова авиаполка, если бы вдруг в очередном концерте художественной самодеятельности не оказалось нашего водевиля. Позор! Сдача позиций!.. О вынужденной паузе в работе драмкружка замполит и слушать не хотел.

— В полковой библиотеке две тысячи книг, а ты мне толкуешь: ставить нечего!.. Тогда сочиняй сам.

Высказал это Середа в запальчивости, а потом вдруг и добавляет:

— Слушай, а почему бы тебе в самом деле не сочинить что-нибудь этакое веселенькое?

— Мне?!

— Именно... И не прикидывайся Ванькой-убогим, — уже более твердо продолжил Середа. — У тебя среднее образование, тебя государство не зря десять лет учило...

— Помилуйте, какой из меня драматург?!

— Погоди, не горячись... Ты мне скажи откровенно: раньше когда-нибудь писать пьесы пробовал?

— Никогда! — воскликнул я.

— Вот видишь, — укоризненно покачал головой замполит, — сам не пробовал, а уже заранее паникуешь. Не по-комсомольски это... Ты Мольера изучал в школе? Тогда отвечай: с чего начал он свою карьеру драматурга?

— С каких-нибудь маленьких пьес, — попробовал угадать я.

— Черта с два! — отчеканил Середа. — С голодухи... И нечего таращить на меня глаза. Вот именно, голод заставил человека взяться за перо и тем обеспечить себе сытную жизнь, а своим комедиям — вечное бессмертие. Уловил аналогию?

— Смутно, товарищ полковник.

— Сейчас я тебе все разобъясню... Значит так: по уставу я не имею права лишать тебя котлового довольствия. А вот запереть тебя в своем кабинете, предположим, с утра до обеда — очень даже могу. И не будем это дело далеко откладывать: вот тебе чернила, бумага... Вот пачка «Казбека». Садись и сочиняй. На обед тебя выпустят: я дам команду дежурному по штабу... На ужин — тоже. Перед отбоем зайду сюда сам, и ты прочтешь мне, что у тебя там получится. Договорились?

И, не дожидаясь ответа, Середа стремительно вышел из кабинета. Звучно лязгнул ключ в замке, и я остался один.

Не буду кривить душой — идея замполита мне и самому понравилась: вдруг очень захотелось сочинить что-нибудь этакое веселенькое. Если бы к желанию моему прибавить чуток умения да крупицу таланта, да маломальское знание жизни... Ничего такого у меня за душой в ту пору не было. Зато был приказ!

В бесплодных муках прошел час, второй, третий... Пепельница до краев наполнилась окурками замполитовских «казбечин», а лист бумаги по-прежнему оставался девственно бел. Мною начинало овладевать отчаяние, я уже готов был по диагонали листа расписаться в своем бессилии, как вдруг меня осенило. Я обмакнул перо в чернила и вывел твердым почерком:

«ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. Дед Ничипор.
2. Горпыня Дормидонтовна.
3. Яшка-артиллерист».

Я всего лишь раз — мальчишкой — видел «Свадьбу в Малиновке» на сцене Московской оперетты. Да еще раза два слышал потом по радио. Она мне очень понравилась, особенно сцена возвращения из плена Яшки-артиллериста. Но, клянусь, я не заучивал эту сцену специально, даже в мыслях

не имел такого намерения. К моему великому изумлению и радости, оказалось, что я помню ее слово в слово! Черт его знает, может, озарение какое снизошло на меня, только, когда я стал переносить текст на бумагу, ни разу не запнулся, ни разу не напряг память. Так, на одном дыхании, и выплеснулась эта сцена из меня.

Окрыленный успехом, я таким же манером воспроизвел сцену вранья из оперетты «Роз-Мари» и диалог Мариетты и Наполеончика из «Баядеры». Правда, на этот раз память моя сработала значительно хуже. Но нахлынувшее на меня вдохновение помогло образовавшиеся в сценках пустоты моментально заполнить придуманными по ходу дела репризами. Получилось гладко и вроде бы неплохо.

Полковник Середа, которому вечером я прочитал написанное, пришел в восхищение.

— Вот, видишь, чертов сын, какой шедевр сработал!.. Ну, бродяга... Ну, разбойник... Дай срок, я из тебя настоящего писателя сотворю — на всю жизнь кусок хлеба!

Замполит в возбуждении расхаживал по кабинету и рисовал передо мной картины — одну красочнее другой:

— А прозвучит-то как на смотре, представляешь?.. «Сцены из популярных комических опер в исполнении военнослужащих гвардейского истребительного орденов Суворова и Кутузова...» А?.. Вникни в смысл и скажи мне по совести, какой полк, кроме нашего, в 15-й воздушной армии способен поставить оперу? Пусть не настоящую, а комическую. Пусть не всю, а одну сценку... И пусть лишат меня погон с двумя просветами, если мы не займем первого места на смотре!

Первое место мы заняли и получили лауреатский диплом. Один я не очень-то разделял радость замполита, потому что предчувствовал множество великих забот, которые уложит на мои плечи бремя полковой славы. Так оно и случилось: оправдавший себя эксперимент с «подзамковым творчеством» был узаконен Середой как основное средство для обновления репертуара нашего драматического коллектива.

Замполит оказался хозяином своего слова: с завидным упорством продвигал он меня в «настоящие писатели». Продвижение это выглядело примерно так: недели за две перед праздником вызывал он меня в свой кабинет и спрашивал:

— Чем будем радовать публику?

Я молча пожимал плечами. Середа лез в ящик письменного стола, вынимал стопку хорошей бумаги и деловито осведомлялся:

— Запирать или как?

— Запирать, — вздыхал я. — И насчет «Казбека»...

Замполит понимающе кивал головой, доставал из шкафа пачку папирос и клал передо мной.

— Мало будет, возьмешь еще.

— Спасибо, — скромно говорил я.

— На здоровье, — откликался Середа уже по другую сторону порога и заговорщически подмигивал. — Вечером приду слушать.

Щелкал замок, удалялись шаги, я закуривал папиросу и принимался за сочинительство...

Об оригинальности своих литературных поделок я не заботился совершенно. Наоборот, мне казалось, что чем больше напоминают они произведения известных авторов, тем лучше, вроде как авторитетнее. И поэтому, не моргнув глазом, совершал я дерзкие похищения чужих фабул, без зазрения совести использовал заимствованные ситуации, ловко жонглировал сравнениями и метафорами.

Не скажу, чтобы такое сочинительство тешило мое самолюбие. Но мне доставляло удовольствие слышать дружный смех и рукоплескания зала, сопровождавшие наши постановки, видеть сияющее лицо замполита и подергивание его чапаевских усов: это он шепотом, для себя лично, повторял любимую формулу похвалы: «Ну, бродяга, ну, разбойник...».

Со временем я наловчился так искусно перелицовывать и перекрашивать исходный материал, что вполне мог выдавать ворованное за свое кровное. Но я этого не делал, ибо крал не ради наживы и личной славы, а потому, что был горячим патриотом своего гвардейского орденоносного полка, потому, что любил и уважал нашего славного замполита полковника Середу.

И еще, наверное, потому, что сам-то в ту пору был слишком молод, наивен и беззаботен.

ВОТ ТАКОЕ КИНО...

Рассказ моего приятеля

В детстве я очень хотел сняться в кинофильме, чтобы потом посмотреть на себя из зала и порисоваться перед одноклассницами. С годами желание это приобретало все более конкретные формы и видоизменялось по мере роста моего ин-

теллекта. В тринадцать лет я мечтал о роли юнги какого-нибудь дредноута или, на худой конец, пиратского клипера. В пятнадцать — мне не давала покоя мысль создать на экране героический образ молодого удачливого чекиста. В семнадцать лет, провалившись на творческом экзамене в кинематографическом институте, я подал заявление в ремесленное училище и через два года получил прекрасную специальность киномеханика.

Как видите, с кино я не расстался, только подошел к этому виду искусства несколько с другой стороны. И вот когда, отдав любимому кинопрокату сорок с лишним лет своей жизни, я с почетом вышел на пенсию, неожиданно представилась возможность попасть в кадр художественного фильма. В областной газете внук прочитал объявление о том, что в Костроме Сергей Бондарчук начинает съемки «Бориса Годунова», и для массовых сцен требуется большое количество мужчин, желательно с бородами.

— Дедушка! — радостно воскликнул Андрейка. — Ты подходишь по всем статьям: и мужчина, и с бородой.

Не знаю, то ли из желания сделать приятное внуку, окончившему на одни пятерки первый класс, то ли произошел рецидив моей детской мечты, но на следующее утро понесся я сломя голову на другой конец города, где у стен Ипатьевского монастыря громоздились бутафорские строения «древней Москвы».

Возле клуба имени Веселова, превращенного на время съемок в костюмерно-гримерный цех, уже стояла толпа костромичей, жаждущих не совсем бескорыстно послужить отечественному киноискусству. Бородатых среди них было не более десятка.

— А нужно минимум полтораста! — сокрушался помреж. — Придется остальным наклеивать... Во морока-то гримерам.

Моя борода, скажу не хвалясь, была вне конкуренции. Сам Бондарчук потрогал ее и сказал:

— С такой роскошной растительностью ваше место у амвона в группе высшего духовенства... Будете в Успенском соборе предавать анафеме Гришку Отрепьева.

Костюмеры надели на меня подризник, сверху напялили парчовый негнущийся стихарь, перекинули через плечо расшитую мишурным золотом ленту и передали в распоряжение второго режиссера Игоря Петрова. О, этот признанный мастер постановки грандиозных массовых сцен честно зарабатывал свой нелегкий хлеб!.. Четыре часа репетировал он с нами сцену, которая должна была идти на экране всего две с половиной минуты. Да потом еще оператор Вадим Юсов под потогонными лучами юпитеров часа полтора снимал бесчисленное количество дублей.

Одним словом, к исходу рабочего дня весь состав съемочной группы едва держался на ногах. Уставшие, голодные, злые, выстроились мы в огромную очередь сдавать костюмы, парики и прочий реквизит и получать денежное вознаграждение за труды. Костюмерши орудовали споро: ловкими приемами снимали с «артистов» пропотевшие зипуны, кафтаны и прочие исторические одежды, стаскивали с голов парики, отклеивали бороды.

Подошла и моя очередь разоблачаться. Шустрая девчушка живо сдернула с моих плеч стихарь и вцепилась в бороду. Как рванет ее!.. У меня из глаз, словно из-под наждачного круга, — струя искр. И дыхание враз перехватило: хочу крикнуть, что борода-то не приклеенная, а своя, собственная, и — не могу!.. Только физиономию скорчил страшенную и молнии глазами мечу.

А девица не смотрит на меня — у нее свои заботы: с коллегой не успела за день закончить разговор о каком-то Эдике. Мне бы за руку ее схватить, да черта с два: застряли мои руки в рукавах стихаря.

С третьей попытки вырвала-таки девка клок из моей бороды. И возмущается еще:

— Сколько раз было сказано: не пользоваться импортным клеем, а Зинке хоть бы что — лепит и лепит... Мучает и нас, и людей.

Потом ко мне обращается:

— Вас гримировала такая черненькая с золотым зубом?

Хотел я ответить... Жаль, воспитание не позволило. Только выхватил я из ее наманикюренных коготков клочок своей бороды — и пулей на улицу! Слышу — из форточки кричит мне девица вдогон:

— Эй, чокнутый, верните казенную бороду! У нас их и так в обрез — завтра на стрельцов не хватит...

Э-хе-хе...

Но самое обидное было впереди. Когда фильм пришел в наш город, я с внуком ринулся на первый сеанс. Тщетно ждали мы появления на экране моей бородатой физиономии. Все остальные участники «анафемского» эпизода крупным планом прошли перед нами (хотя бороды у них были не собст-

венные, а приклеенные, — я это точно знал). Меня же в кадре не оказалось. Мы взяли билеты на второй сеанс, потом на третий... Внук расстроился, не пошел в школу. Не захотел быть посмешищем класса: ведь он накануне раструбил всем о том, что самого главного протодьякона в «Борисе Годунове» играет его дедушка.

ЗАБЫТИЦА

Мы, пацаны 30-х годов, искренне верили, что вкуснее куска хлеба с повидлом ничего на свете не существует. И взрослые не разуверяли нас в этом.

А ведь пожилые люди помнили дореволюционную Россию, видели, как ломились от товаров купеческие лабазы, знали, что за пятак можно было плотно пообедать в трактире, а перед обедом «хлобыстнуть косушку» и закусить балычком, икоркой, каким-нибудь расстегаем или кулебякой. Это мне под большим секретом рассказывал дед, старый железнодорожник, когда бывал навеселе.

А бабка отличалась феноменальной памятью на дореволюционные цены. Частенько вспоминаются мне живые картины многолетней давности, когда я, ученик младших классов, приезжал из Москвы на время летних каникул в глубинную деревеньку Рязанской области, где жили мои дед и бабушка.

В их деревне не было магазина, приходилось ходить за пять километров в Ключи или Батьки. Извлекая из кошеля покупки, бабушка чинно раскладывала их на столе в горнице и комментировала со вздохами и охами:

— Конфеты-подушечки... Смотреть не на что. Взяла двести граммов на девять гривен. А раньше фунт стоил пятак.

Вынимала измятую в дороге буханку ржаного хлеба, рассматривала, качала головой.

— Рубль за такую уродину. А бывало, за ситник три копейки брали. Его разломишь — дух-то за две сажени шибает!.. Бутылка постного масла — шесть целковых. О-хо-хо... Мы на эти деньги две недели кормились. Да не как-нибудь, а и первое с мясом, и пироги на воскресенье...

И вот так каждый раз по приходу из магазина. Я слушаю, слушаю, да из озорства и срежу бабку каверзным вопросом:

— А мороженое сколько тогда стоило?

— А мороженого тогда вообще не бывало, — парировала бабка.

— Ну это ты, старая, врешь, — встревал в разговор дед.— На ярморке в Сасове его продавали. Почем — не помню. Я раз покупал.

— Только раз? — удивлялся я.

— Это ж не еда — баловство. Попробовал и хватит.

—А я летом почти каждый день ем.

— Балует тебя мать, — неодобрительно говорила бабка, качая головой.

— Один он у них, вот и набаловали. А нас семеро было. Не шиковали, конечно, но и не бедствовали. Две коровы держали, свинью, овец, курей, опять же огород. Так что своей едой обходились, только и покупали — сахар да соль. Пятерки на целый месяц хватало. А когда я на железную дорогу ушел, каждую неделю мне и сальца, и маслеца посылали.

— Ну, твои-то старики в селе жили, а мои — на железнодорожном разъезде. К нам вагон-лавка приходила, — хвасталась бабка. — А в ней — соблазны всякие городские, монпансье в железных коробочках...

— Буржуи, — с напускным осуждением говорил дед. — Покупной ситничек ели, леденцами лакомились... Революция-то вам крылышки подрезала.

— Ага, — лукаво соглашалась бабка. — На голодный паек посадила. А у твоего отца революция-то и вовсе коров отобрала.

— И не революция, а коллективизация... И не отобрала, а обобществила, — уже по-настоящему хорохорился дед. — А ты как была контрой, так и осталась. Дядя-то твой где служил? В полиции?..

— Дурак ты старый, — подводила итог разговору бабушка и уходила в сени от греха подальше.

— Что? Правда-то глаза колет? — кричал ей вослед дедушка, но, опомнившись, обращался ко мне: — Ты наши разговоры не бери в толк. Старики мы, из ума выживаем, вот и наводим друг на друга напраслину. В шутку я ее буржуйкой обзываю, а она меня — кулацким сынком... Хе-хе... Ты уж насчет этого никому не говори, а то ведь кругом народ, знаешь, какой!.. Мигом доложут кому следует. А там не будут разбираться: шутка это али серьез... И насчет брата ее — тоже моя выдумка. Хе-хе... Да и вообще нонешнее житье куда по сравнению с прежним — свобода. Бывало, о царе-то скажи худое слово — тебя враз на каторгу упекут. А теперь, пожалуйста, — полощи его, супостата, со всех концов. Еще спасибо скажут.

— А Сталина?

— Что Сталина? — Дед отводил глаза в сторону. — Сталин — это Ленин сегодня. Он тебе счастливое детство дал. Вон — мороженое каждый день ешь. А бабка его за всю жизнь ни разу не едала.

— А ты сколько денег получал в месяц? — интересовался я, чтобы положить конец неприятной для деда теме разговора.

Дед задумывался. А бабка из сеней кричала:

— Когда начальником разъезда был, — двенадцать целковых. Тогда мы и граммофон купили, и часы с боем, и маму твою в сасовскую гимназию определили. Да и питались-то разве как сейчас!..

— А тебе-то какой салоп отхватили с куньим воротником, — напоминал дедушка. — Теперь такой небось тыщу стоит.

— Как не две, — подхватывала бабушка. — До сих пор износу ему нет, а ведь лет тридцать таскаю.

— Тридцать? — переспрашивал дед. — А не больше?.. Мы когда в Темников ездили тещу хоронить?

— В 1910 году, царство ей небесное, — говорила, крестясь, бабушка.

— А ноне 1938-й... Значит, двадцать восемь годочков носишь.

— Да и еще столько же протаскаю, как раньше не помру.

— Аль моль не сожрет, — подначивал дед.

— Типун тебе на язык! — отмахивалась бабка.

Дедушка хитро подмигивал мне, дескать, слушай дальше, и, устремив глаза в потолок, произносил:

— А вот сколь мы заплатили за салоп, убей — не вспомню. Вроде полсотни.

— Чего мелешь! — откликалась бабка. — Осьмнадцать целковых да еще четверть водки. И деньги эти вовсе не из твоего жалования, а из тех, что матушка мне оставила.

— Вот чертова баба! — восхищался дед. — Все помнит, никакая забытица ее не берет!

Бабка, пропустив мимо ушей реплику мужа, продолжала:

— Из тех же денег тебе чесанки справили и дочкам всем обновы понакупили. А велико ли наследство-то было: сотня с небольшим.

Разговор в том же духе продолжался бы и дальше, но тут часы пробили пять пополудни— время ставить самовар. Дед

отправился на колодец за водой, бабушка принялась выгребать из глубины печи «живые» угли.

— Ты вот что, внучок, — говорила она, орудуя кочергой, — слушать-то слушай, а чужим не говори про наши с дедом разговоры. Знай себе помалкивай. А если и спросит кто: знать не знаю, ведать не ведаю.

Я, разумеется, давал бабке честное пионерское, что буду держать язык за зубами, а сам в душе осуждал себя за то, что не могу воспользоваться опытом Павлика Морозова, потому что очень люблю и дедушку, и бабушку. Да и не такие они, в сущности, отпетые враги Советской власти. Просто не дошло до их заскорузлого сознания, что «жить стало лучше, жить стало веселей». Пока еще в деревне, конечно, худо, даже мороженого нет. И белого хлеба — тоже. А пенсия у деда после пятидесяти лет работы на железной дороге — сорок восемь рублей (сорок — на него и восемь — на бабку-иждивенку). Но ведь это пока. Пока не построили коммунизм. Так я и объяснял старикам. Дед гладил меня по голове и говорил: «Умница».

Вспоминаю я то далекое время и думаю: вот если бы бабка дожила до сегодняшнего дня, как бы она со знанием арифметики в пределах программы церковно-приходской школы справилась с сопоставлением дореволюционных цен и нынешних? Она больше тысячи-двух и чисел-то не знала, потому как не требовалось в жизни ей.

Да, темные люди были наши пращуры. Зато внуки у нас —акселераты. Бывало, какие задачки мы в первом классе решали? «У тебя одно яблоко да у Миши два. Сколько всего будет?» А теперь: «Одна бутылка из-под водки стоит семьдесят рублей. Сколько надо их сдать, чтобы на вырученные деньги купить «Мерседес»?» Прогресс!

БОРОДА ЧЕРНОМОРА

Помню — был в нашем доме изданный еще до революции однотомник сочинений Пушкина. Моя самая любимая книга. Читать я еще не умел, — читала мама. Вслух. А мы слушали — я и бабушка. Какие это были удивительные зимние вечера! За окнами бушует вьюга, завывает ветер в трубе, а мы втроем сидим на теплой русской печи, под нами расстелено

стеганое одеяло, над головами — цвета красной меди — доски потолка, до которых я могу дотянуться рукой.

Сказки о попе и Балде, о Салтане и Гвидоне, о золотом петушке я уже знал наизусть. И тем не менее по моему персональному заказу наше вечернее чтение начиналось с одной из них. А заканчивалось «Русланом и Людмилой».

Лампа-трехлинейка с круглым жестяным отражателем освещает страницы книги и профиль маминого лица. Бабушка сидит с закрытыми глазами, вроде бы дремлет, но слышит все. Отца дома нет. Он в конторе припозднился с годовым отчетом. И это меня радует, потому что с его приходом расстроится наша компания, прекратится чтение на самом интересном месте. Мама и бабушка слезут с печи, чтобы собрать ужин, унесут с собой и лампу. Начнутся житейские разговоры, так не похожие на те, что ведут между собой герои пушкинских сказок.

Я останусь на печи один. Без лампы здесь становится неуютно и даже жутковато. Я прошу зажечь мне свечку. Бабушка это делает весьма неохотно: боится, что я закапаю стеарином книгу или — того хуже — подпалю одеяло. Поэтому подсвечник она ставит на старую сковородку и наказывает ни в коем случае не сдвигать ее с места.

Я беру книгу и в который раз начинаю рассматривать иллюстрации. Их немного, и каждую я знаю в мельчайших деталях. Но среди них есть одна, которая притягивает мое внимание, волнует своей непостижимостью. Чем пристальнее всматриваюсь я в нее, тем тревожнее становится на душе.

На картинке изображен колдун Черномор, взвившийся высоко в ночное небо. В его длиннющую бороду одной рукой вцепился Руслан, в другой руке он держит обнаженный меч, которым должен отсечь старику бороду — средоточие колдовской силы Черномора. И меня прохватывает дрожь: я боюсь за Руслана. Взрослый человек, а не понимает, что если он отхватит колдуну бородищу, то вместе с ней ухнет вниз и, как пить дать, расшибется...

Как ни странно, с годами эта тревога за судьбу пушкинского героя не оставила меня. Наоборот — обострилась, больше того —материализовалась. Я уже был в таком возрасте, когда явственно мог себе представить весь ужас русланова падения в бездну, поскольку сам не раз попадал в подобную ситуацию... во сне.

Но во сне все кончалось благополучно. Вначале я падал мешком. Но в самый критический момент, когда до земли оставались сущие пустяки, усилием воли я заставлял свое тело принять позу парящей птицы, и — о, чудо! — падение мое превращалось в стремительное пике, выйти из которого уже не составляло особого труда: следовало только вытянуть вперед руки, поставить кисти под небольшим углом вверх — и я ласточкой взмывал в поднебесье.

А Руслан-то не во сне будет падать. Если он рассчитывает, что борода сыграет роль парашюта, то это — очевидное заблуждение. Может, он замахнулся мечом, чтобы только попугать старика?.. Интересно, сколько времени Руслан может вот так одной рукой держать себя на весу?.. И я проводил такой эксперимент: взявшись за ручку двери, поджимал ноги и зависал над полом. Раз, два, три, четыре, пять — все! На большее меня не хватало. Пальцы разжимались сами собой.

Ах, Руслан, Руслан, хотя ты и богатырь, а все равно рука твоя рано или поздно устанет!.. Низ картинки представлял из себя сусальный малороссийский пейзаж с пирамидальными тополями и хатами, крытыми пышными соломенными шапками. Упасть бы ему на такую крышу! Но это маловероятно, и потому более-менее реальную надежду возлагал я на реку, что виднелась у горизонта. Хватило бы только силенок у витязя додержаться до того момента, когда колдун будет пролетать над рекой. Вот тогда можно было бы и отсечь Черномору бороду... Однако, если судить по отклонению развеваемой ветром бороды, колдун летит как раз в противоположную сторону...

Эти горестные размышления бурно обострялись, когда в результате простуды или промоченных ног я оказывался в постели с высокой температурой. Ночью в бреду мне являлся этот мерзкий горбоносый старик. Он смотрел на меня немигающими злыми глазами и, видимо, выжидал удобного случая, чтобы вцепиться костлявыми пальцами в мое горло. Я пытался позвать на помощь бабушку или маму, но слова застревали в горле. Это было ужасно: знать, что рядом спасение, и не суметь подать сигнал беды.

Такие ночные кошмары периодически преследовали меня лет до двенадцати. Как возненавидел я этого противного докучливого старика! Чтобы как можно реже вспоминать о нем, я спрятал однотомник Пушкина под старые журналы на нижнюю полку этажерки, а при нужде пользовался другими изда-

ниями поэта, благо в городской библиотеке в них не было недостатка.

И все равно, стоило мне взять в руки любое издание пушкинских произведений, память, будто в издевку, рисовала в моем воображении злополучную картинку из моей книги.

Конец наваждениям положил вот какой курьезный случай. Я в очередной раз заболел ангиной. Бабушка на ночь намазала мне йодом горло, завязала шею шерстяным платком и уложила в постель. Болезнь эта, с одной стороны, не могла не радовать меня, поскольку завтра, а может быть, и еще несколько дней мне не надо будет ходить в школу и я смогу прочитать добытого на двое суток «Робинзона Крузо». Но, с другой стороны, я чувствовал, что ночью во сне непременно увижу своего заклятого врага, и это будет стоить мне немало страданий.

Я долго не мог заснуть в предчувствии неприятного свидания. Вот уже смолкли шумы в нашей коммунальной квартире, часы у соседей пробили полночь... И вдруг неведомая, могучая сила подняла меня с постели, заставила подойти к этажерке и извлечь из-под журналов пушкинский однотомник. Крадучись, чтобы не разбудить бабушку и родителей, я пробрался на кухню. Здесь на подоконнике при свете луны я открыл книгу на приснопамятной странице и решительно резанул лезвием безопасной бритвы по бороде Черномора...

Больше в своих снах я не видел это горбоносое чудище.

РАМА

Что это было за персональное задание, рядовой Иван Кислов узнал, как только доложил дежурному по штабу армии о своем прибытии.

— Художник? Ясненько. Поступишь в распоряжение майора Безносика. Сейчас мы ему позвоним. Он тебя давно ждет.

Майор встретил Ивана как нельзя любезней. Он энергично протянул ему руку для пожатия, чем несколько смутил растерявшегося от такой фамильярности солдата.

— Будем вместе работать по созданию в охвицерском клубе и на территории военного городка высокоидейной наглядной агитации, — четко, не вдаваясь в подробности, объяснил он рядовому Кислову цель его поспешного вызова из части в штаб армии. — Рисовать-малевать, как мне доложили, ты умеешь. Писать плакаты и делать монтажи — научим: дело нехитрое. А большего от тебя и не требуется... Говоришь, в художественном училище занимался? Аж три курса окончил?.. Сейчас проверим, чему тебя там научили.

Майор Безносик поднялся из-за стола, усадил на свое место Кислова, развернул перед ним тетрадь, дал в руки остро отточенный карандаш и приказал:

— Рисуй.

— Чего рисовать-то?

— А хоть бы мой прохвиль.

Безносик тряхнул черным чубом, привычным движением руки взбил на голове кок и уселся верхом на стуле. Осведомился, не поворачивая головы:

— Так гарно будет?

— Нормально.

— Может, голову выше?

— Можно и выше.

— Давай, чтоб эхвект был...

Четверти часа хватило Кислову, чтобы набросать «прохвиль» майора. Дело привычное: в своем артдивизионе он, почитай, всех перерисовал — и командиров, и рядовых. Да не по одному разу. Сколько махры на этом деле заработал, сколько стопок «сорокаградусной разведенной» осушил!..

Майору рисунок понравился.

— Во! — воскликнул он. — Теперь и в хвотографию ходить не надо. Пошлю домой матери-старушке, нехай порадуется... Только вот еще что. Пририсуй-ка ты мне китель с погонами, чтобы было видно: майор Советской Армии.

Иван пририсовал.

— Гарно! — одобрил Безносик. — А теперь изобрази над карманом два мои ордена: «звездочку» и «отечку».

— Так ведь они на правой стороне груди носятся, — напомнил майору рядовой, — а вы же мне левой стороной позировали.

Безносик малость поразмыслил и махнул рукой.

— Да хрен с ним, рисуй на левой!.. Старухе-то не все ли равно... Будет она тебе разбираться, где какой орден носить положено.

«Приемные экзамены» рядовой Кислов выдержал на «отлично». И началась его новая служба при штабе армии в должности связиста (это — по штатному расписанию), а фактически — художника-оформителя.

Пока шла война, политотделам на фронте не требовались специалисты такого рода. Но как только армия перешла на режим мирного времени и перебралась из блиндажей и окопов в обустроенные военные городки бывшего вермахта, возникла острая потребность в наглядной агитации, чтобы у оставшихся в живых воинов не ослабевала любовь к своему вождю и учителю, а также к его славным кремлевским соратникам.

Спешным порядком по распоряжению свыше начался в подразделениях поиск художников, краснодеревщиков, маляров и прочих умельцев. Надо было до их демобилизации на всю катушку использовать дармовые таланты для создания помпезных декораций, портретных галерей, многометровых воспевающих и призывающих плакатов.

Сколько их, несчитанных и нечитанных, понаписал за последний год воинской службы рядовой Иван Кислов! И счет им потерян. Но пришло время демобилизации. Как ни уговаривал его майор Безносик остаться на сверхсрочную, каких благ ни сулил, Иван остался непреклонен: домой — и все! Доучиться, стать профессиональным живописцем — было его голубой мечтой.

— Ну что с тобой, неслухом, делать?.. — Майор разводил руками. — От своего счастья отказываешься, дурень!.. Тут ты, как у Христа за пазухой, живешь: знай себе малюй. Ни о харче, ни о крыше над головой думать не надо: всем обеспечен — и сыт, и пьян, и нос в табаке. А там, «на гражданке», о-го-го, брат ты мой!..

Вечером, накануне отправки демобилизованных в Россию, майор Безносик пригласил Ивана в свой кабинет. Запер дверь на ключ, достал из полости гипсового бюста Бетховена бутылку ликера, разлил по стаканам.

— Чтоб у тебя все было гарно!

Выпили. Повторили. Пожевали ломтик проперченного сала. Обнял Безносик своего исполнительного, безотказного «Рахваеля», поцеловал и говорит:

— Чем бы мне тебя за труды твои геройские поощрить от себя лично? Была бы война — к медали представил. А сейчас — сам понимаешь... Хочешь, я тебе «несессор» свой подарю?

Иван не знал, что такое «несессор», и потому не выразил каких-либо признаков радости.

— Ну, тогда проси, чего сам пожелаешь. Только, конечно, что в моей компетенции.

— А подарите мне... зеркало, — неуверенно произнес Иван.

— Шо-шо?.. — не понял майор.

— Вот это зеркало, которое в раме, — уже более внятно сказал Кислов. — Оно все равно без дела в вашем кабинете висит. Вы же не женщина — глядеться-то в него.

— Это точно, не женщина, — после некоторого раздумья согласился майор. — Только тебе-то оно на кой ляд?

— Матери-старушке подарок будет, — нашелся Иван.

— А-а... — понимающе протянул майор. — Ну, если матери-старушке, тогда бери. Для хорошего человека, сам знаешь, ничего не жалко!

Получив разрешение, Иван, не теряя времени, приступил к делу.

— И как же ты его попрешь? — посочувствовал майор Ивану, снявшему зеркало с вмурованного в стену крюка. — В одной раме верняком полпуда будет. Может, зеркало-то вынуть?..

— Ни в коем случае! — возразил Иван. — Без рамы в нем никакой красоты.

— Тоже верно, — согласился Безносик. — Только закутай его в какое-нибудь тряпье: не ровен час генерал увидит — отберет. Он мужик до трохвеев ух какой охочий!..

Не зеркало нужно было Ивану, а роскошная вызолоченная рама в стиле ампир. Давно он положил на нее глаз. Считай, с первого дня своей службы при штабе армии. Любую мазню вставь в такую оправу — шедевром покажется.

Сколько раз, сидя в кабинете своего начальника, завороженно глядел Иван на раму и мысленно представлял, как будет выглядеть в таком королевском обрамлении его будущая картина — портрет матери, — первое произведение, которое Кислов напишет, вернувшись домой.

Путь отвоевавшихся солдат из Германии в Россию, выражаясь словами известной песни, был нелегок и нескор. О пассажирских вагонах демобилизованный люд и понятия не имел. Ехали в набитых под завязку товарных. Ехали весело и пьяно. На полустанках в Польше за трофейное шмотье всегда можно было получить бутыль «варшавянки», то бишь самогонки. И хоть была она зачастую заправлена для крепости карбидом, желудки российских солдат, привыкшие перевари-

вать и не такие химические соединения, работали исправно. А вот головы — дурели. Разбушевавшегося ефрейтора Иванова, соседа по нарам, пришлось связывать. И надо же было ему в последний момент взбрыкнуть ногой, обутой в подкованный немецкий сапог!.. Первый удар пришелся в раму, второй — по зеркалу...

В Москве, на Ярославском вокзале, в ожидании поезда на Александров решил Иван посмотреть на последствия того пьяного буйства. Размотав тряпье, он выбросил в урну мелкие осколки зеркала, внимательно обследовал раму и возликовал: она не пострадала! Осталась маленькая щербинка на кромке нижней грани — вроде как памятная зарубка — только и всего.

Не буду блеклыми словами описывать картину появления в родительском доме сына-фронтовика: каждый может себе представить это в меру богатства фантазии. На третье утро после возвращения, освежив голову кружкой огуречного рассола, принялся Иван за осуществление своего замысла. Сделал подрамник, натянул на него холст, загрунтовал. Из Германии он привез хорошие краски, набор кистей и полную солдатскую флягу орехового отбеленного масла.

В течение дня, пока сохла грунтовка, он набросал несколько карандашных эскизов, заставляя матушку чуть ли не вкруговую вертеть головой. Наконец подходящий ракурс был найден, и со следующего дня работа над портретом началась.

Мать, вначале благосклонно отнесшаяся к затее сына, вскоре поняла, что быть натурой — неподвижно сидеть перед мольбертом художника — совсем непростое дело. Лентяю, лежебоке, может, это и понравилось бы. А работящей бабе, обремененной хозяйством, такое времяпрепровождение выйдет боком. Но разве можно не уважить просьбу сына?.. Да и самой, честно говоря, охота было увидеть себя на портрете.

В воскресенье, взглянув после очередного сеанса на почти законченный холст, она поняла, что не напрасно всю неделю на час-другой отрывала себя от прополки и прочих хозяйственных забот. Такой прибранной, нарядной и вроде как помолодевшей давненько не видела она себя в зеркале.

И уж совсем возрадовалась ее душа, когда поглазеть на чудо зачастили в ее дом жители деревни. Слух о появившейся в избе Кисловых золотой, необыкновенной красоты раме облетел округу. Иван, конечно, был несколько обижен тем,

что приходившие в их дом люди любовались отнюдь не его творением. И только вдоволь насмотревшись на раму, обращали они внимание на заключенный в нее портрет.

— Ой! — удивленно восклицали многие. — Да ведь это, никак, Степановна!

Портрет матери Иван увез с собой в областной центр, куда в конце августа уехал доучиваться в художественных классах. На квартире, где он снял угол, подходящего места для картины не нашлось, и Иван при первой же возможности снова увез ее в деревню до лучших времен.

Долго пришлось их ждать Кислову. Он окончил училище, был оставлен в нем преподавателем, женился, обзавелся кооперативной квартирой, стал членом Союза художников, известным на все Верхневолжье портретистом. Годы и годы ушли на все это.

...На одной из зональных выставок в числе прочих работ Кислова экспонировался и портрет матери художника. Обновленный опытной рукой мастера, он был признан одной из лучших картин выставки. Музей решил приобрести портрет и предложил Кислову хорошую цену. Художник согласился продать картину, но — без рамы. Директор музея такие условия не принял... Если бы не затянувшееся на тот период безденежье, вряд ли бы Иван расстался с памятным творением. Но так или иначе — работа была куплена.

После закрытия выставки «Портрет матери» еще какое-то время находился в экспозиции. Потом скрылся в запаснике. Художник не раз безуспешно пытался каким-либо образом выкупить раму или обменять ее с большой выгодой для музея на несколько своих лучших работ. Директор был неумолим. Так и отступился Кислов...

К семидесятилетию Советской власти в музее с особой помпой устраивалась юбилейная художественная выставка Кислова как старейшего живописца, учителя многих успевших прославиться художников ввели в состав выставкома. Пришел он на организационное заседание комитета в кабинет директора музея и первое, что увидел — та самая рама с вмонтированным в нее портретом генсека.

— Как она оказалась здесь? — возмутился Иван.

— Да ты что, с луны свалился? — удивился коллега Кислова, бессменный член всех прошлых и, похоже, будущих выставочных комитетов. — В этой раме успели побывать и Хрущев, и Брежнев, и Черненко... Теперь — Горбачев... А ес-

ли верить областной газете, эта знаменитая рама свою почетную миссию — обрамлять лики монархов и пролетарских вождей — выполняет со времен посещения нашего города Екатериной Великой.

— Да не может быть того, чтобы со времен Екатерины!.. — горячо возразил Кислов.

— Это почему же?

— Потому... А газете нашей брехать не впервой.

Иван подошел к раме и коснулся пальцем кромки нижней грани. Ну, конечно, вот она — щербинка, оставленная подковкой ефрейторского сапога.

...Сейчас в эту роскошную раму вставлен портрет Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича Самодержца Всероссийского работы одного преуспевающего художника, удостоенного звания заслуженного еще в те времена, когда в особой чести были лики венценосных старцев, омоложенные кистью живописцев.

ЖЕРТВА МОДЫ

Юмореска

Слышали новость? Мою соседку по этажу Генриетту Степановну, пенсионерку с высшим гуманитарным образованием, судить собираются. За дерзкий грабеж среди бела дня.

А довела ее до этого тяжкого преступления слепая любовь к домашнему животному по кличке Тишка. Был у нее такой песик — злющий и голосистый, — полная противоположность своей хозяйке.

В один прекрасный день вышла эта Генриетта прогулять своего любимца. У собачки маршрут привычный: из подъезда вдоль стенки за угол — справить нужду. Ну а старушка по эту сторону дома останавливается и держит Тишку за поводок, ждет, когда песик там, за углом, свои дела благополучно завершит.

А тут как раз мимо другая старушка идет. Мамыкина из третьего подъезда.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Как спали?

— Как давление?

— Как желудок?..

Заговорились. Глядь — время к обеду, пора расходиться. Тут Генриетта Степановна вспоминает про своего Тишку и удивляется, почему он так долго задерживается за углом. За поводок — дерг-дерг... Не поддается поводок. Глянула за угол — нет Тишки.

Бросилась старушка в поиск. Туда-сюда бегает, мечется по двору, у встречных спрашивает. В подвал заглянула, на чердак слазила, водосточную трубу палкой до третьего этажа простучала: может, думает, туда забрался... Ничего не проясняется. Пропал Тишка. Испарился. Будто и не было его вовсе.

Для старушки — удар. Горе великое. Все-таки восемь годков пестовала его.

Месяца два прошло после того загадочного исчезновения. Бабушка Генриетта вроде и забывать стала о своем четвероногом друге. И вот однажды едет она в троллейбусе с рынка домой. И вдруг видит поверх голов пассажиров своего лохматого песика. Обрадовалась бабка до нет спасу, кричит на весь салон:

— Тишенька! Миленький! Иди, иди ко мне!..

А Тишка не идет, потому что он, выражаясь научной терминологией, уже перешел в другой вид материи. То есть в модную лохматую шапку, надетую на голову какой-то незнакомой гражданки. Но бабуля наша этого превращения не замечает: на нее вроде как затмение нашло. Ринулась она по проходу к своему Тишке. Мужчин растолкала, подскочила к гражданке, шапку с ее макушки — хвать, прижала к себе, гладит по шерстке, приговаривает:

— Тишенька, родненький, где же ты столько времени пропадал? Пойдем скорее домой, там у меня в холодильнике твое любимое сало венгерское... Вот как раз и остановочка наша.

И в дверь троллейбуса — прыг-скок.

А та женщина, у которой Генриетта шапку таким дерзким манером умыкнула, тем временем в себя пришла да как заорет:

— Караул! Ограбили!.. Держите воровку!..

И тоже — вон из троллейбуса. За ней — еще человек пять дюжих свидетелей. За бандитом каким-нибудь ни за что бы не погнались, а тут — старушка... Чего не проявить свою храбрость! Поймали ее, сердешную, возле подъезда. Гражданка

— та сразу в шапку вцепилась, рвет ее из Генриеттиных объятий. А бабка не отдает. Шум, крики... Кто-то уже по ноль-два звякнул.

Пока машина с полосой прикатила, шапку эту претендентки пополам разодрали. Сержант спрашивает: мол, в чем, граждане, дело, а гражданка тычет свою половину шапки в нос милиционера.

— Я, — кричит, — за нее сто сорок тысяч в ателье уплатила! У меня и квитанция со штампом есть. Все на законном основании!..

А соседка моя уже, видать, целиком в прострацию вошла: ничего не видит и не слышит. Прижала свою половину шапки к груди и воркует:

— Не бойся, Тиша, никому я тебя не отдам... У, какие бяки! Напугали собаченьку. Ишь, как хвостик дрожит... А ну, куси их, разбойников! Куси вон того — с золотыми пуговицами!..

Милиционер чует, что-то здесь не того: на разных частотах трансляция идет. Говорит Генриетте Степановне:

— Позвольте вас, мамаша, подсадить вот в эту колясочку и подвезти до районного отделения на предмет выяснения.

Берет он, значит, бабусю нежной хваткой под локотки и вместе с пострадавшей гражданкой и свидетелями загружает в машину.

В отделение Генриетте Степановне нашей толково объясняют: то, что она так трепетно прижимает к груди, вовсе не является ее Тишкой, а в данный момент представляет из себя половину головного убора гражданки Меркуловой, экономиста ЖЭКа номер 34. А превращение это произошло по вине неизвестного лица, которому, видимо, очень приглянулся бабушкин песик с точки зрения его пригодности на пошив модной дамской шапки. Поскольку же вернуть этому меховому изделию первоначальный вид, то есть превратить его снова в Тишку, теперь вряд ли удастся даже профессору с мировым именем, предлагается гражданке Бычковой Генриетте Степановне добровольно отдать гражданке Меркуловой вторую половину шапки и уплатить потерпевшей издержки за ремонт головного убора. И еще дают совет нашей бабусе: взамен Тишки завести собаку с коротким ворсом, чтобы в дальнейшем не вводить в соблазн любителей домашних животных и не прибавлять хлопот милиции.

Генриетта Степановна, уразумевшая наконец суть происходящего, рекомендацию дежурного капитана милиции выполнила сразу: полшапки вернула. Но ремонт оплачивать отказалась принципиально. А гражданка Меркулова не такой человек, чтобы в ущерб себе делать скидку на бабкин склероз. Подала иск в суд...

И вот сегодня утром нашей Генриетте приходит повестка. Бабка — в страшном расстройстве. Да и весь подъезд обескуражен: жалко соседку-то, такая тихая бабуся, и вдруг — под суд. Спасибо — Костя Спирин, это который по амнистии на той неделе из заключения вернулся, успокоил и ее, и нас.

— Больше трех лет, — говорит, — за угон шапки не полагается. А вам, мамаша, может, и жить-то всего с годок осталось. Так что особо не волнуйтесь: кормежка там сносная, и два раза в неделю кино кажут. Только, — говорит, — постарайтесь на верхние нары устроиться, потому как внизу холоднее, и на голову из верхних матрацев труха сыпется.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...

Мой дебют на любительской сцене состоялся много-много лет назад, когда я, ученик пятого класса, был вовлечен в школьный драмкружок нашей любимой пионервожатой Таней. Роль моя была бессловесна и статична: я изображал раненого красноармейца, который в течение всего спектакля бревном лежал на полу, укрытый с головой шинелью, и время от времени издавал жалобные стоны.

Спектакль ставили ученики старших классов, а я, по счастливой случайности оказавшийся в их компании, был чрезвычайно горд, что вот так, почти на равных с большими, могу участвовать в лицедействе и считать, что те аплодисменты, которыми зрители щедро одаривали исполнителей, в какой-то степени адресуются и мне.

Зарекомендовав себя добросовестным, нерассуждающим статистом, я вскоре получил маленькую роль в какой-то антирелигиозной агитке. Потом еще, еще... И вот уже я сам организую в классе на большой перемене показ импровизированных сцен из буйной жизни головорезов пиратского брига по мотивам (как бы теперь сказали) повестей Стивенсона, Жаколио и Мариетта.

Этот самостийный спектакль кончился для меня довольно плачевно. В кульминационный момент взятия на абордаж испанского галиона рухнула классная доска, накрыв собой одного из матросов моей команды — Витьку Таранкова. Его раз-

битый нос и здоровенная шишка на темени оказались для завуча вполне достаточной уликой, чтобы обвинить меня в организации массовых беспорядков в классе. К счастью, за меня заступилась наша славная историчка Меретхан Заурбековна, и дело ограничилось снижением в моем дневнике недельной отметки за поведение.

А постановкой, после которой я поверил, что обладаю кое-какими артистическими способностями, была сцена в корчме из «Бориса Годунова». Я исполнял роль Варлаама. С нарастающим успехом мы показывали этот отрывок во всех трех школах Тушина, в авиационном техникуме и дирижаблеучебном комбинате, в аэроклубе имени Чкалова и на планерном заводе. Во время одного из представлений у Варлаама из-под рясы вдруг вывалилась плохо закрепленная ремнем подушка-живот. И эта накладка не только не умалила, а наоборот, прибавила славы нашему драмкружку, послужив темой для юморески ушлого корреспондента многотиражки тушинского авиагородка.

Война помешала мне поступить в театральное училище. Вместо него я подал заявление в летное. Не прошел по глазам комиссию и был направлен курсантом в школу военных авиамехаников. И здесь во время учебы по скоростной программе не потух во мне актерский запал. Я с удовольствием исполнял комические роли в скетчах, пел в курсантском хоре, играл на гитаре в струнном оркестре под художественным руководством Левы Меламеда.

На Третий Белорусский фронт я приехал в самое горячее время, перед началом нашего наступления в Прибалтике. Тут уж, конечно, было не до самодеятельности. После взятия Кенигсберга нашу дивизию перебросили на Первый Белорусский — штурмовать Берлин...

Но кончилась война, и вновь потянуло меня на любительскую сцену. В джазе Толи Назаркина я был ударником, аккомпанировал на гитаре домристу-виртуозу Паше Кулаченко, освоил аккордеон... А душа-то все же лежала к драматическому искусству.

Уж не помню, при каких обстоятельствах произошло мое сближение с Володей Кузнецовым, мотористом из первой эскадрильи. Он был на два года старше меня (а в возрастной армейской иерархии это много значит) и вроде как покровительствовал мне, даже уважал. Он был единственным в полку человеком, который называл меня Виталием, другие именовали или Витей, или Сержантом. Механиков и младших специалистов, имеющих звание сержант, в полку было несколько десятков, но персонально это звание прилипло только ко мне. Почему? Все в полку носили полевые погоны — зеленые с красными лычками, а я щеголял в голубых суконных с тремя серебряными полосками, которыми запасся еще в тылу у портного за дюжину кусков сахара.

С Володей меня сдружило единство взглядов на драматическое искусство, в котором (по нашим дерзким понятиям) мы разбирались глубоко и беспристрастно. Как-то попал мне в руки затрепанный томик драматических произведений Пушкина, вызвавший в памяти живые воспоминания о нашей школьной постановке сцены в корчме. Видимо, я в таких сочных красках поведал Володе об этом событии из моего артистического прошлого, что он вдруг предложил:

— А давай и мы поставим.

— Давай, — не задумываясь, согласился я. — Только уж не одну сценку, а несколько, чтобы получилось нечто более-менее цельное.

— Разумеется.

Так в одночасье полушутя-полусерьезно родилась идея спектакля, которой мы сумели зажечь еще пятерых надежных ребят. Замполит полка отнесся к нашей затее с изрядной долей скептицизма, но возражать не стал и даже помог сагитировать на роль Марины Мнишек официантку офицерской столовой.

Никогда не забыть мне ту атмосферу подлинной самодеятельности, в которой проходила подготовка к спектаклю. Этот спонтанный взрыв вдохновенного, раскрепощенного творчества придавал нам невероятную силу и уверенность в успехе задуманного. Декорации, реквизит и часть костюмов мы сделали сами. Кое-что пришлось позаимствовать в костюмерной Дрезденского оперного театра (наш полк стоял тогда на окраине этого города): роскошное платье для Марины, камзол Самозванцу, кафтаны стрельцам.

После суматошного летнего дня мы запирались в каптерке и, забыв об усталости, а порой и об ужине, репетировали до самого отбоя.

Премьера состоялась в канун Первого мая 1946 года. То ли случайно, то ли по приглашению замполита в зале оказался какой-то «чинок» из политотдела дивизии. После спектакля он высказал недоумение по поводу постановки «допотопной» пьесы, не зовущей советского воина-победителя крепить мощь вооруженных сил и быть готовым в любую минуту по

приказу великого Сталина свернуть шею англо-американскому агрессору.

И все: второго и последующих спектаклей не было. Замполит похвалил наш энтузиазм, вынес устную благодарность всем исполнителям и тем рассчитался с «Борисом Годуновым». А вскоре расформировали наш 900-й истребительный полк, разбросав личный состав по трем другим полкам 240-й дивизии. Мы с Володей Кузнецовым оказались в разных частях.

По месту новой службы мне не удалось сколотить драмкружок — для постановки больших пьес не нашлось талантов. Малыми силами ставили скетчи, водевили, небольшие сценки из классических комедий и оперетт. Они хоть и не звали воинов поднимать учебно-боевую подготовку, но пришлись по вкусу командиру нашего воздушного корпуса генералу Василию Сталину. (А это поважнее всего прочего!)

Он неизменно присутствовал на всех заключительных смотрах корпусной художественной самодеятельности и громогласно давал указания жюри: кого поощрить грамотой, кого — дипломом, а кому и оформить отпуск на десять дней, не считая дороги. (Замечу в скобках, что мне по милости Василия Сталина дважды довелось тогда съездить домой).

Демобилизовался я из армии в июле 1951 года — после восьми лет срочной службы! В звании «солдатского генерала», т. е. гвардии старшины. Куда пойти, чем заняться после армии — эти вопросы меня не мучили: я точно знал, что буду поступать в школу-студию имени Немировича-Данченко при Московском Художественном театре. Вычитал я как-то в одном журнале очерк об этой «кузнице сценических кадров» и взлелеял мечту попасть именно туда.

Сразу по возвращении из армии не было смысла без основательной подготовки пытаться сдать вступительные экзамены. Поэтому я устроился электромонтером на «номерной» завод и поступил в 10-й класс вечерней школы. Первый аттестат зрелости я получил еще в 1943 году в Казани перед уходом в армию. Но я скрыл это от дирекции ШРМ и вторично закончил десять классов в 1952 году. И если бы не шесть грамматических ошибок в сочинении на выпускных экзаменах, получил бы медаль.

Теперь, имея на руках два аттестата, я мог погнаться за двумя зайцами. Одно заявление подал в школу-студию, другое — в МГУ на факультет журналистики, благо приемные экзамены и туда, и сюда были одни и те же. Правда, в школе-

студии, чтобы быть допущенным к вступительным экзаменам по общим предметам, нужно было пройти три тура творческого конкурса: прочитать перед комиссией монолог, басню, «изобразить» этюд на заданную тему. Сей рубикон я форсировал вполне благополучно, что лишний раз, по моему разумению, подтвердило наличие у меня незаурядных актерских способностей.

Приемные экзамены и в школу-студию, и в университет я сдал без троек и стал студентом сразу двух вузов. Расписание занятий в них было составлено так удачно для меня, что я целый месяц без пропусков занимался и там и там. И стипендию получил в двух местах! Узнав об этом, отец — кадровый финансовый работник — пришел в ужас: как мог его сын решиться на обман государства!

Не знаю, какой бы в конце концов был сделан мною выбор (наверное, все-таки студия), если бы не приватный разговор, состоявшийся у меня с одним из корифеев МХАТа народным артистом СССР Борисом Ливановым. Притянув меня к себе за лацкан пиджака, он сказал мне «по секрету»:

— Молодой человек, из вас не слепить мхатовского актера: вас окончательно испортила самодеятельность. Позволю себе дать вам совет, и если вы воспользуетесь им, потом будете меня очень благодарить... Перемените вуз... На третьем туре я покривил душой, убедив комиссию поставить вам проходной балл, тем самым оказал вам плохую услугу. Прошу меня извинить.

Изрекши сие, Ливанов круто повернулся и широкими шагами пошел прочь, оставив меня в полнейшей растерянности. Я, считавший себя уже вполне сложившимся артистом, поступившим в студию исключительно ради того, чтобы немного подшлифовать свое мастерство по системе Станиславского, вдруг слышу такой убийственный приговор. И от кого? От своего кумира, человека, которого я считал лучшим актером страны!..

На другой день я взял в учебной части свои документы и гордо удалился.

А мой однокурсник по МГУ, ныне знаменитый Василий Лановой, поступил наоборот: бросил факультет журналистики и обосновался в школе-студии имени Щукина при Вахтанговском театре. Думаю, что он не пожалел о своем окончательном выборе, так же, как не пожалел о своем я.

Великое спасибо славному Борису Николаевичу Ливанову. Случай помог мне сказать это ему «в лицо», когда много лет

спустя мы встретились в аэропорту Софии. Вылет самолета на Москву задерживался, а наши кресла в зале ожидания оказались рядом. Он меня, конечно, не узнал. И когда я напомнил ему о том роковом приговоре, Борис Николаевич не рассмеялся, а вполне серьезно заметил:

— Я вас тоже должен поблагодарить за... благоразумие. Не каждый так легко может расстаться со своей мечтой.

Легко?.. Откуда он знает, что это было так легко?..

ШАНС

Из блокнота писателя

Отслужив в армии день в день ровно восемь лет да еще год отработав электромонтером на «номерном» заводе, в сентябре 1952 года я был принят на первый курс только что созданного в МГУ факультета журналистики. В те времена Тушино, где я жил с родителями, еще не входило в зону города Москвы, хотя уже было связано со столицей трамвайной линией маршрута № 6. На трамвае за полчаса я доезжал до «Сокола», пересаживался на метро и через восемнадцать минут был на Моховой, где на втором этаже левого крыла старого университетского здания располагался наш престижный факультет.

Шесть дней в неделю мы занимались здесь, а по воскресеньям обязаны были являться к восьми часам утра на Ленинские горы благоустраивать территорию вокруг строящегося «храма науки» — нового высотного здания МГУ. Дорога туда из Тушино занимала около двух часов, поэтому мне приходилось выскакивать из дому не позже шести утра. В эти воскресные ранние часы и трамвайные вагоны, и поезда метро были непривычно пусты, так что в дороге всегда имелась возможность добавить к утреннему сну еще несколько сладких минут.

Забавный случай, о котором я хочу сейчас рассказать, и произошел со мной именно в такое воскресное утро в поезде метро. На одной из станций в вагон нетвердой походкой вошел гражданин весьма почтенного вида и возраста. Он плюхнулся на сиденье как раз напротив меня, обвел мутным взглядом лица редких пассажиров и остановился на моем. И вдруг, расплывшись в лучезарной улыбке, он протянул ко мне руки и воскликнул:

— Кого вижу в столь ранний час!

Мужчина встал со своего места и уселся рядом со мной, бесцеремонно потеснив какую-то чопорную даму, уткнувшуюся в книгу.

— Выглядишь ты на все сто... долларов. Молодец — держишь форму. Так куда же, если не секрет... в столь ранний час?

И, не выслушав моего недоуменного ответа, он принялся рассказывать заплетающимся языком:

— А я, брат, после новоселья... Племянник получил жилплощадь на Усиевича — сорок семь квадратных... футов под килем... Балкон, скоростной лифт... Нажал, фьють — и тама... Я шестьдесят лет в Москве — таких благ не имею, а он — мальчишка... Знаешь, где работает?

Мужчина наклонился ко мне и зашептал в ухо:

— В закрытом институте... Они там, знаешь, чего делают? Не знаешь?.. И я не знаю... И пусть делают. Верно?..

Я согласно кивнул головой.

— А ты куда в столь ранний час?

И опять, не дав мне вымолвить слова, мужчина заговорил:

— Читал во вчерашней «Литературке»?.. Нет?.. Да ты что, Трифоныч!.. Как можно...

Трифоныч?.. Вот теперь я окончательно убедился, что гражданин принял меня за кого-то другого. И чтобы положить конец этой не очень приятной для окружающих болтовне, я сказал как можно вежливее:

— Вы, очевидно, обознались.

— То есть? — Мужчина отпрянул от меня на некоторое расстояние и... расхохотался.

— А ведь верно!.. То-то я смотрю, ты... простите, вы... вроде как помолодели... Ах, черт!

Мужчина снова уставился на меня.

— А ведь похож, честное слово.

И, повернувшись к соседке, спросил:

— Правда, похож? Только волосы посветлее.

Соседка, не взглянув на меня, вызывающе снялась с сиденья и перешла в конец вагона. Мужчина ей вослед грустно заметил:

— Ну выпил, ну обознался... Так чего же демонстрацию устраивать?..

В окне замелькали «нержавеющие» колонны станции «Маяковская». Сосед поспешил к выходу. Уже из открывшихся дверей крикнул мне:

— Сейчас позвоню Трифонычу, посмешу его!

Пассажиры проводили чудака веселыми взглядами и снова уткнулись в газеты и книги. Только один пожилой человек поманил меня пальцем.

— А знаете, за кого он вас принял? За Твардовского. За Александра Трифоновича... Вы и в самом деле смахиваете на него...

О курьезном этом случае рассказал я однокурснику Димке Корешкову, человеку бывалому, успевшему до поступления в университет года два поработать в газете «Московский комсомолец» (правда, как выяснилось потом, нештатно). К моему удивлению, комическая сторона рассказа его совершенно не тронула. На происшедшее он взглянул с позиции делового прожектера.

— Эх ты, голова — два уха, — упрекал Димка. — Такой шанс упустил!.. Подумай-ка сам: если тот тип обращается к Твардовскому на «ты», называет его «Трифоныч», «брат», следовательно, имеет на эту фамильярность моральное право, то есть сам является каким-нибудь деятелем от литературы соответствующего уровня... Тебе бы выйти с ним на «Маяковке», проводить до дома, дорогой познакомиться, выудить телефончик... Разиня! Он же если не главный редактор, то уж непременно член редколлегии какого-нибудь журнала. А это значит: зеленый свет твоим юморескам в солидном издании, гонорары, знакомства с нужными людьми... Наконец — твердое место в столице после окончания университета...

Чем дольше слушал я Корешкова, тем умиротвореннее становилось на душе. И в кого я уродился такой лопоухий?.. Наверное, в отца. Всю жизнь проработал он рядовым конторским служащим, постоянно замещая то начфина, то главбуха. Начальство ценило его за честность, скромность, пунктуальность, бескорыстие, щедро поощряло благодарностями, но вечно обходило премиями и прочими материальными знаками внимания. А он не обижался. Так и жил — никому не завидуя, не сетуя на то, что где-то кто-то обошел его должностью, положением, окладом... Отца не трогала мирская суета, и в этом, как я теперь понимаю, было его великое счастье.

КУТЕРЬМА

31 декабря 1953 года. Атмосфера в университете предновогодняя, но лекции идут своим чередом. Я как прилежный студент сижу в первом ряду и аккуратно записываю все, что вещает с кафедры уважаемый профессор. И вдруг — записка.

Знакомый почерк Саши Мальчикова. Лучшего новогоднего подарка и желать не надо: его записка, как пиковая десятка в руках гадалки, сулит неожиданный денежный интерес. Притом — вернейший.

Саша Мальчиков — бывший штурман морской авиации, а ныне студент факультета журналистики МГУ. Студент, прямо скажем, посредственный, но зато какой великолепный подрядчик! А это в нашей несытой студенческой жизни — фигура. Никто не может сравниться с ним в умении выгодно продать физическую студенческую рабсилу базе, складу, магазину, железнодорожной погрузочно-разгрузочной службе. Саша был своим человеком в разного рода конторах бытового обслуживания москвичей, знал, кто не сегодня — завтра должен въехать в новую квартиру, интуитивно чувствовал, к какому причалу Южного порта в ближайшие сутки подойдет баржа с астраханскими арбузами, какой пакгауз Москвы-товарной примет ящики с цитрусовыми. Его штурманский планшет вмещал неимоверное количество подобного рода информации.

Обычно Мальчиков приходил в университет за полчаса до начала занятий, пристраивался в пустом деканате и принимался обзванивать различные торговые и заготовительные организации. Набор вопросов был всегда один и тот же: какой товар прибыл и сколько, к какому часу нужны грузчики, какова плата на круг, можно ли рассчитывать на дармовой обед.

Выяснив «конъюнктуру», Мальчиков начинал сколачивать трудовую артель. Поименный список неимущих студентов, всегда готовых свободное, а иногда и учебное время посвятить погрузочно-разгрузочному труду, был у него всегда под рукой. На первом часу лекции Мальчиков рассылал записки тем, кого намеревался осчастливить выгодной работенкой. Записки были конкретны. Например: «База в Щукино. Картошка в мешках. Минимум по 120 рублей на нос. Сбор у столовой старого здания. Если согласен, дай знак».

Впрочем, последнее предложение можно было и не писать: я не помню случая, чтобы кто-нибудь отказался от мероприятия. Все знали, если Мальчиков зовет, внакладе не останешься. Вот почему я очень обрадовался, получив от Саши записку с приглашением сразу после занятий выехать электричкой в Гучково (километров тридцать от Москвы) — погрузить на машину мебель с дачи. Заказчик — директор столичного ресторана. Значит, кроме денежного довольствия, будет еда и — вполне вероятно — выпивка. Под Новый год это очень кстати.

В Гучково нас приехало трое. Трое других ребят должны были чуть позже отправиться на московскую квартиру директора — встречать нагруженную дачным скарбом машину. Все было четко спланировано бывшим штурманом — и по часам, и по километрам.

В сумерках мы кое-как отыскали нужный дом. У калитки нас уже ждал грузовик. Вещей было немного, но все довольно громоздкие, еле пролезавшие в узкие дверные проемы. После выноса неимоверно тяжелой диван-кровати мы все взмокли от пота, поснимали с себя пальто и шапки и повесили их в пустой шкаф. Работа пошла веселее, так что за полчаса вся мебель была погружена в кузов.

— Ну, с богом, — сказал хозяин, уселся в кабину грузовика и вручил нам замок. — Будете уходить — навесьте на дверь, он без ключа замыкается.

Машина тронулась, а мы пошли в опустевший дом закусить. На пыльном подоконнике нас ожидала сторублевая ассигнация, бутылка «Зубровки» и гора разложенных на газете бутербродов. За пять минут мы подобрали все и пошли одеваться.

А где наши пальто?.. Мать честная, да они же вместе со шкафом уехали в Москву! И шапки тоже!.. Вот это номер... На дворе мороз градусов под тридцать, до железнодорожной станции полчаса ходу, а на нас одни легонькие пиджачки.

Никогда в жизни не бегал я на длинные дистанции с такой резвостью и с таким удовольствием. В зал железнодорожного вокзала мы ворвались, словно метеоры. Растолкав закутанных в шали баб, протиснулись к печке и прижались к ее железной, испускающей живительное тепло поверхности.

Когда поотошли малость, оглянулись — кроме нас, в помещении ни одного человека. Куда же они все подевались? Ведь только что народу был полон зал. Наверное, на перрон подались, к поезду. А у нас еще и билетов нет. Подошли к окошечку кассы, оно — хлоп, и закрылось. Мы — стучать, в ответ — молчание. Мы — к выходу на перрон. Закрыто. Что такое? Мы — к противоположной двери. И там заперто. И в окно ни черта не видно — заиндевело.

Слышим, подъезжает к вокзалу машина, хлопает дверца, раздаются возбужденные голоса. Щелкает замок, и в дверь вваливаются четверо краснорожих здоровяков. Из-за них выглядывает старикашка в запотевших очках.

— Нет, не наши, — говорит он.

— Да как же не ваши? — кричит дежурный по вокзалу. — Кому еще придет в голову раздетым по такому морозу шляться?

Старичок протирает очки.

— Нет-нет, — качает головой, — точно, не наши.

— А в чем, собственно говоря, дело, товарищи? — спрашивает Мальчиков. — Вы нас, очевидно, за других приняли? Мы — студенты МГУ. Документы вам? Пожалуйста...

Потом уж, сидя в комнате дежурного по вокзалу и согреваясь специально для нас вскипяченным чаем, узнали мы причину всей этой кутерьмы. Оказывается, на окраине Гучкова расположена психолечебница для буйных. И бывали случаи, когда оттуда сбегали пациенты, шастали по улицам, наводя ужас на местных жителей и дачников. Вот и нас приняли за таковых.

...А на студенческий новогодний карнавал мы все-таки не опоздали. И костюмов маскарадных не понадобилось: сердобольные жители Гучкова нарядили нас в такие живописные телогрейки и ватники, что если бы не Новый год, не избежать бы нам новых дорожных приключений.

ВЕЛИКАЯ ИСТИНА

Рассказ одного знакомого

Нет, на фронте я не был. А руки действительно во время войны лишился... Застала она меня в Минске пятнадцатилетним мальчишкой, — как раз первый курс музыкального училища закончил, домой на каникулы собирался, билет уже взял. А в ночь на двадцать второе налетели фашисты на город. По соседству с домом, где я стоял на квартире у дальней родственницы-старушки, целый квартал начисто снесли. Занемогла бабка — пришлось мне при ней временно нянькой остаться.

Помню, народ поговаривал украдкой, что дела на фронте плохи, только не верил я. Не верил до тех пор, пока немцы в город не пожаловали.

С полгода прожил я в оккупированном Минске, потом угодил в облаву и загремел вместе со свежей партией рабочих рук «нах Дойчланд», в Германию.

Километрах в сорока от Берлина есть такое местечко — Ораниенбург. Поселили нас, подростков, в бараке при фабрике, обучили работать на станках — штамповать жестяные ко-

робки для противогазов. И потянулись беспросветные, жуткие дни, когда человек и жить не живет, и умирать не умирает. Если кто заболевал, его куда-то увозили в закрытой машине. В лагерь такие уже не возвращались.

Я хорошим здоровьем никогда не отличался. Бывало, в детстве каждый месяц — то грипп, то ангина. Ну, думаю, не нынче — завтра свалит меня болезнь. Со страхом ждал я этого рокового дня и дождался.

Помню, проснулся ночью в ознобе, дрожу весь, зубы чечетку выбивают, в голове — будто музыкальный волчок — крутится и гудит. Толкаю в бок соседа Юрку из Жмеринки.

— Слушай, — говорю, — заболел я вроде... Возьмут меня завтра.

А он закрыл мне рот рукой и шепчет в ухо:

— Молчи, не вздумай сказать кому-нибудь... Согреться тебе надо, авось к утру полегчает.

Накрыл он меня своим пиджачком, обхватил руками, прижался грудью к моей спине и пролежал так до подъема.

Повели нас на фабричный двор. Меня качает из стороны в сторону, в глазах — зеленые круги... А Юрка шепчет:

— Крепись, крепись изо всех сил... Придем во двор — схожу к рыжему Билю, есть у меня планчик один... Может, выгорит.

Билем мы звали между собой солдата, который был приставлен к нашей смене для порядка. Он делал нам «аппель» — перекличку то есть, раздавал по цехам на попечение мастеров, а сам уходил в свою караулку, доставал из футляра аккордеонированный баян и целыми днями пиликал — разучивал по самоучителю несложные немецкие мелодии.

— Ты ведь играешь на баяне, — сказал Юрка. — Вот я и распишу ему: артист, дескать, из джаза, может научить тебя, рыжего дурака, играть по-настоящему, а не тянуть жилы из инструмента... Вот увидишь, соблазнится он — позовет. А тебе того и надо, отдохнешь день-другой, поправишься.

План Юрки удался. Отправив людей по цехам, Биль приказал мне следовать за ним в караулку.

— Ты играешь на гармонике? — спросил он, когда мы очутились в комнатушке с деревянной солдатской койкой, табуретом и столом.

— Играю.

Ни слова не говоря, Биль подал мне баян с красной перламутровой отделкой и раскрыл самоучитель на последних страницах.

— Играй.

Это было упрощенное до предела «Вечное движение» Вебера. Я его когда-то разучивал в подлинном варианте и теперь играл, глядя в ноты только для видимости. Моя игра явно удивила рыжего Биля. Солдатский ум никак не мог постигнуть того, что какой-то русский мальчишка так умеет играть на немецкой гармонике.

В самый разгар игры дверь в караулку распахнулась, и вошел незнакомый офицер. Биль вскочил как ужаленный и вытянулся в струнку. Офицер метнул взгляд в мою сторону и, повернувшись к солдату, показал на меня стеком.

— Он пойдет со мной.

Через минуту мы уже неслись в зеленом «Опеле» по улицам Ораниенбурга. Вдруг машина резко затормозила и нырнула в ворота просторного двора. Офицер приказал мне оставаться в машине с шофером, а сам исчез в дверях двухэтажного каменного дома. Ждать пришлось недолго. Вышла молоденькая служанка и повела меня по узкой винтовой лестнице на второй этаж.

В просторной круглой комнате, кроме офицера, сидел еще какой-то обрюзгший старик и курил трубку. Рядом на столике стоял наш, тульский баян! У меня так сердце и екнуло: ведь точно такой же инструмент остался в Минске. А может, это он и есть?.. Ставший военным трофеем...

Офицер обратился ко мне:

— Мой отец — хозяин казино. Он хочет послушать твою игру. Если ему понравится, будешь работать здесь.

Я начал было играть «Голубой Дунай» Штрауса, но не дошел и до конца первой части, как старик жестом остановил меня и стал что-то говорить сыну. Минут пять вели они между собой оживленный разговор, и по тому, как часто в нем употреблялось слово «гут», я понял, что мне, кажется, крупно повезло. И в самом деле: офицер повернулся в мою сторону и сказал:

— Будешь работать здесь.

С этого момента жизнь моя сделала крутой поворот и потекла по иному руслу. Хозяин казино оказался довольно-таки порядочным человеком. Для жилья мне была отведена малюсенькая каморка под лестницей — стол, стул, кровать с пуховой периной. Прямо как в сказке «Принцесса на горошине». С семи утра и до двух часов пополудни я обязан был делать уборку зала и при необходимости оставаться на подхвате у дочерей хозяина, ведавших кухней и баром. Ровно полтреть-

его служанка приносила мне в каморку обед. По сравнению с лагерной баландой это была пища богов. По средам и субботам даже перепадал кусок жирной свинины. А кофе — каждый день, утром и вечером. С сахарином.

Отобедав, я брал в руки баян и принимался разучивать несложные немецкие мелодии, рассчитанные на неприхотливый вкус бюргера. Сам хозяин, как я понял, в нотах ничего не смыслил и отбирал их по пестрым картинкам на титульных листах. К моей великой радости попадались среди них и знакомые мелодии — «Розе Мунда», «Рио-Рита»... До войны я играл их на танцах в фабричном общежитии, подрабатывая себе на кино и мороженое.

Но основная моя работа в казино начиналась в шесть вечера и продолжалась до десяти. А в пятницу и субботу — до полуночи. Я выходил на крошечную эстраду во фраке, оставшемся от призванного в армию моего предшественника, в лаковых штиблетах — тоже с чужой ноги, с бантиком на манишке, гладко причесанный на косой пробор. И принимался играть, чередуя танцевальную музыку с популярными в рейхе песнями, мелодиями из немецких фильмов и оперетт, вальсами Штрауса...

Новая работа, несмотря на ее кажущуюся легкость, изматывала меня довольно основательно. Но я все равно был бесконечно благодарен судьбе за прямо-таки невероятное вызволение из рабства. «Как-то там сейчас поживает мой спаситель Юрка из Жмеринки? — думал я. — Век за него буду Бога молить... Он там, бедняга, мучается, а я тут как у Христа за пазухой». У меня даже появились карманные деньги: посетители, заказывая ту или иную мелодию, совали мне в руку монеты. Хозяин это видел, но никогда не отбирал их у меня.

Как-то мне пришла в голову мысль сыграть с эстрады фантазию на тему русской народной песни «Утушка луговая», которую я готовил когда-то со своим преподавателем на республиканский смотр юных баянистов. И вот, выбрав время, когда в казино было мало посетителей, я набрался храбрости и заиграл...

Никто в зале не заметил моего «преступления», что придало мне смелости и, я бы сказал, некоторого нахальства. С каждым последующим днем я стал все увереннее наигрывать наши песни, по возможности придавая им танцевальные ритмы: «Катюшу», «Андрюшу», «Спят курганы темные...», «Три

танкиста, три веселых друга...». Приятно мне было хоть этим дурачить немцев.

Дошел до того, что выдал им под видом фокстрота «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе...». Честное слово! Немцы танцуют — ничего. Кто за столиком такт кружкой пивной отбивает. А меня смех душит.

И надо же случиться — понравился этот самый мотив одному постоянному посетителю — кривому молодчику в железнодорожной форме. Бывало, бросает мне десятипфенниговую монету и кричит: «Майн либе!» — мою любимую, значит.

...Не знаю, сколько бы времени продолжалась моя таперская жизнь в казино, если бы не случилась беда. Уж вот так, видно, устроен неразумный человек. Выпало ему маленькое счастье — будь им доволен, не испытывай судьбу ради какого-то сиюминутного удовольствия. Не рискуй тем, что имеешь.

Накануне «вайнахта», Рождества по-нашему, хозяин велел составить репертуар для праздника из мелодий, пользующихся особой популярностью у посетителей.

Вечером украшенное елкой и хвойными гирляндами казино заполнил народ. В основном это были женщины и старики. Пришел сын хозяина с каким-то офицером в гестаповской форме. Они уселись далеко в углу и молча потягивали коньяк.

Вдруг в зал с шумом ввалилась компания подвыпивших солдат. Они заняли ближний ко мне столик и потребовали шнапса. По обрывкам долетавшего до меня разговора я понял, что не нынче — завтра загремят они на восточный фронт.

Шнапс заметно подогрел их. Громче стали голоса, чаще — взрывы пьяного хохота. Сидящий ко мне спиной толстозадый солдат повернулся на стуле, бросил в меня монетой и крикнул:

— Мою любимую! Живо!

Я тотчас узнал его — это был недавний железнодорожник, которому полюбилась мелодия нашей революционной песни. «Ага, значит, и тебя, кривого, упекли! — с радостью подумал я. — Значит, плохи дела у фюрера, если и таких стали в армию брать».

— Ну, что ты там медлишь? Играй!

Я покосился на офицеров, занятых своим делом, и начал потихоньку наигрывать.

— Громче! — рявкнул солдат. — Последний раз слушаю!..

Я стал играть громче, изредка поглядывая на офицерский столик. Там было все спокойно. Бывший железнодорожник повернулся к своей компании и начал одной рукой дирижировать, а другой — ударять дном пустого бокала по столу в такт музыке. Его примеру последовали и другие солдаты, а потом — и весь зал!

И вдруг кинжальный взгляд гестаповца, вплотную подошедшего к эстраде, пригвоздил меня к спинке стула.

— Ты что играешь? — зловеще спросил офицер.

— Я разучил этот фокстрот...

— Фокстрот?! С-скотина!! — заревел гестаповец и вспрыгнул на эстраду. За ним с искаженным от злобы лицом последовал сын хозяина.

— Господин Бауэр, — говорил он, захлебываясь, — позвольте мне самому!..

Гестаповец молча пропустил вперед хозяйского сына. Тот сорвал у меня с плеча ремень баяна, аккуратно поставил на пол инструмент... Потом он вынул из кобуры парабеллум, схватил за запястье мою правую руку, приложил ее к стене и начал с ожесточением бить по пальцам тяжелой рукоятью пистолета. Кровь обрызгала стену, мое и его лицо, манишку, офицерский мундир, а он все бил и бил, вдалбливая в штукатурку фаланги моих пальцев.

...Очнулся я в каком-то полутемном помещении. Надо мной склонилось несколько мужских лиц. Когда я спросил по-русски, где я, они заговорили между собой на непонятном языке. Я попытался свой вопрос повторить с помощью жеста, но острая боль прорезала мою правую руку: кисть была ампутирована и завязана пропитавшимся кровью бинтом.

Только сейчас я заметил, что меня окружают голые люди. Все они были худы, и казалось: вот-вот ребра прорвут их тонкую матовую кожу. Вопросов можно было не задавать: я понял, что попал в лагерь смерти Заксенхаузен, о котором среди местных жителей ходили страшные легенды.

Не буду рассказывать об ужасах, которые нам пришлось испытать там. Год и четыре месяца прошли для меня в сплошном кошмаре. Как дожил я до освобождения — и сам толком не представляю.

...А все-таки не погиб во мне музыкант. Не выбили из меня фашистские парабеллумы любовь к музыке. Конечно,

сам я не игрок теперь, но учить-то других могу! Преподаю в музыкальной школе нотную грамоту, музыку сочиняю, руковожу оркестром баянистов... Наконец, внука готовлю в консерваторию по классу баяна. Помните рассказ Куприна «Гамбринус»? Там есть удивительно верные строки: «Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит, все победит».

ПОЛИГЛОТ

Я, начинающий корреспондент областной газеты «Красный Курган», был весьма польщен, когда редактор поручил мне как самому молодому (если не по возрасту, то по стажу работы в редакции) участвовать во встрече молодых тружеников города с зарубежными участниками Шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов, возвращающимися из Москвы домой, на восток.

Из обкома комсомола получил я информацию, что по Южно-Уральской железной дороге через Курган проследуют делегации Японии, КНДР, Китая и Монголии. Стоянка каждого поезда 20 минут (смена бригад). За это время на перроне состоится летучий митинг и вручение гостям сувениров.

Мне было доверено преподнести делегациям альбомы с фотографиями памятных мест Кургана. Конечно, такими скромными подарками не удивишь иностранцев. Но у меня для них был приготовлен еще и сюрприз.

Я нашел в городе людей, с помощью которых составил на четырех языках текст. По-русски он звучал примерно так: «Дорогие друзья! Пусть этот альбом напоминает вам о ваших сверстниках-зауральцах, которые рука об руку с вами борются за мир». Добросовестно зазубрив все четыре варианта, я мог в любое время суток с чувством и без запинки продекламировать текст на любом из четырех языков.

Первым прибыл в Курган поезд, в котором ехала японская делегация. Прибыл с опозданием, поэтому от митинга пришлось отказаться, а начать прямо с вручения сувениров. Дошла очередь до меня. Я торжественно передал альбом руководителю делегации и сопроводил этот акт своей коронной фразой по-японски, чем, конечно, удивил и восхитил присутствующих. Сначала они прямо-таки растерялись от

неожиданности, но, овладев собой, бросились пожимать мне руку.

В тот же день приветствовал я китайскую и корейскую делегации, тоже вызвал восторг гостей и тихую зависть представителей других организаций города, наблюдавших за тем фурором, который сопровождал мои «спичи».

Монгольская молодежь проезжала через Курган поздно вечером. Но встречающих на перроне не убавилось. Митинг проходил при иллюминации, что придавало встрече особую значимость. Дождавшись своей очереди вручать сувенир, я поднял альбом над головой и вдохновенно произнес (по-монгольски, разумеется): «Дорогие друзья! Пусть этот альбом...»

Не успел я закончить фразу, как очутился в объятиях моего университетского однокурсника монгола Самбу. На фестивале он был одним из переводчиков монгольской делегации. Такая неожиданная встреча обрадовала нас обоих. Мы стояли обнявшись и повторяли два слова: «Мир тесен!» Наконец Самбу спросил:

— Чего это ты говорил, вручая нашему руководителю альбом?

— А ты прослушал? — с напускной обидой сказал я. — Ну так повторю для тебя персонально.

И повторил. Самбу выслушал и пожал плечами.

— Это на каком же языке? — спросил он.

— То есть как на каком? На твоем родном, — сказал я, но уже без прежней уверенности в голосе.

Самбу отрицательно покрутил головой.

— Ничего похожего... Ты мне по-русски объясни, что ты хотел сказать?

Я объяснил.

— Ну так слушай, как это будет по-нашему.

И Самбу произнес фразу, прекрасно мне знакомую. Три часа назад я говорил ее корейским товарищам. Черт возьми!.. Страшная догадка пронеслась в моей голове. Неужели я перепутал языки?!.

Заглянул в шпаргалку — так и есть: японцам я говорил по-китайски, китайцам — по-корейски, корейцам — по-монгольски, а монголам, значит, — по-японски... Растяпа! Полиглот несчастный!..

— Да не расстраивайся по пустякам, — успокоил меня Самбу. — Все прекрасно поняли твою мысль, а это — главное.

ЗА ДАВНОСТЬЮ ЛЕТ...

Из записок старого тассовца

С уверенностью скажу, что в биографии каждого бывалого журналиста наберется не менее дюжины случаев, которые вполне могут быть квалифицированы, как невероятные истории. Я расскажу об одном таком курьезе.

Случилось это в 1963 году. Я работал тогда собственным корреспондентом ТАСС по Читинской и Амурской областям. С самого первого дня моего пребывания на этой благословенной земле возлелеял я мечту отыскать для этнографического очерка какого-нибудь кондового чалдона — таежного старожила лет под девяносто. Еще лучше — столетнего.

Будет ли это охотник, лесник, старатель, шишкобой, тигролов, ведет ли он социальное происхождение от землепроходцев, староверов или каторжан — значения не имеет. Лишь бы он был элитным типом сибиряка: в плечах — косая сажень, борода до пояса...

Именно в поисках такого «раритета» занесла меня нелегкая в Могочу — районный центр Читинской области. Что это за место, можно судить по забайкальской пословице: Бог создал Сочи, а черт — Могочу.

Рассказал я о своем намерении ребятам из районной газеты.

— Есть! Есть такой мужик на разъезде Утени, — обрадовал меня ответственный секретарь. — Лесообходчик Тюрин. Во вчерашнем номере мы поздравляли его с присвоением звания ударника комтруда.

— Такой не подойдет, — вздохнул я. — Мне нужен старикан с обличием Ильи Муромца. В крайнем случае — Добрыни.

— Он и есть! Как две капли воды.

— Шутишь?

— Точно говорю.

— Тогда бутылка с меня!

На следующее утро я сошел с поезда Чита — Благовещенск на разъезде с ласковым названием Утени. Огляделся — кругом сопки, поросшие лесом. Под кручей слева — несколько домишек с огородами. У крошечного вокзальчика — дежурный, плюгавенький мужичонка в красном форменном картузе, с любопытством уставившийся на меня, единственного сошедшего с поезда пассажира.

— Скажите, как найти мне Тюрина Ивана Михайловича, — обратился я к нему.

— А чего искать, вон евонный дом... Вы кто ж такой будете?

— Я корреспондент ТАСС.

— Да ну! — изумился дежурный. — И документы при вас?

— А что, обязательно надо показывать? — осведомился я.

— Ну как же, — извиняющимся тоном произнес мужичонка. — Тут граница недалече.

Осмотром моего удостоверения дежурный остался доволен.

— Ну идите, — разрешил он. — Михалыч об эту пору завсегда чаевничает со старухой.

Стучаться мне не пришлось: двери в сенцы и горницу были открыты настежь, хотя температура на дворе — не выше нуля. Бросился в глаза ярко начищенный пузатый самовар с заварочным чайником на конфорке. В углу под образами сидел сам в расстегнутой косоворотке. Спиной ко мне — дородная супруга.

— Иван Михайлович?

— Он самый, — спокойно сказал бородач и аккуратно поставил чашку на блюдце.

— А я корреспондент. Хотел бы с вами побеседовать, сфотографировать... Не против?

— Да нет, ничего, — как-то неуверенно ответил Иван Михайлович. И, помолчав, добавил: — Меня два раза фотографировали в шашнадцатом году, когда я шестерых немцев в плен взял.

— Тогда вы молодой были.

— Знамо, помоложе. И силенка была. Возьму эдак пятак и двумя пальцами согну. А теперь — и калач не разломить.

— Поди-ка уж, — сказала, махнув рукой, старуха. — Чего плетешь...

— А ты не встревай: не с тобой разговор.

— А ты не болтай, чего не след.

— А ты язык прикуси...

Конец перепалке положил я:

— Дедусь, давно ли здесь живете-то?

Этот невинный вопрос почему-то насторожил Ивана Михайловича. Ответил он не сразу, вперил в меня острые глаза, качнул головой.

— Живу... Годов сорок будет, как не больше.

— И все лесообходчиком?

—Лесообъездчиком, — поправил дед. — На коне.

Я вытащил из кармана блокнот и ручку.

— Это зачем? — строго спросил Иван Михайлович.

— Запишу, поскольку на память в нашем деле — надежда плохая.

— И куда же я тебе нужен?

— В газету напишу, как вы тут в тайге со зверьем воюете.

Старик отвел от меня глаза, повозил чашкой по блюдцу.

— А чего с ним воевать... Мы сами по себе.

Выудить у Ивана Михайловича подробности о его работе, о жизни в таежной глуши оказалось довольно трудно. На все мои вопросы он отвечал односложно: либо «да», либо «нет», либо «а кто его знает». Когда же я попросил его рассказать хотя бы о том, как он шестерых немцев в германскую пленил, старик и вовсе прикусил язык.

— Не помню, давно это было... В одна тыщ шашнадцатом...

Великого труда стоило мне уговорить его сфотографироваться. В избе было мало света, мы вышли во двор. По такому случаю старуха вытащила из сундука новую ватную фуфайку и заставила вяло сопротивляющегося супруга надеть ее. Снова юркнула в избу, вернулась, держа в руке двустволку.

— Это зачем? — строго спросил дед.

— Очень хорошо! — обрадовался я. — Давайте, давайте ружье.

— Тогда уж и коня надо...

— Обязательно! Будто объезд своего участка делаете.

Я исщелкал целую пленку, заставляя старика принимать различные эффектные позы: подносить ладонь ко лбу наподобие козырька и вглядываться вдаль, прицеливаться, переламывать ружье и заглядывать в казенник... Дед молча и с явным удовольствием выполнял все мои команды.

Вернувшись на другой день в Читу, я первым делом позвонил на телевидение редактору последних известий Коле Осипову и рассказал о встрече с восьмидесятилетним ударником коммунистического труда.

— Если пленку не запорю, — подытожил я, — сделаю для тебя мировой репортаж.

Надо заметить, что в 1963 году Чита только-только начала осваивать свое телевидение. Киносъемочной аппаратуры

еще не было в наличии — обходились показом фотографий и живым голосом автора за кадром.

Фотоаппарат не подвел меня — снимки получились приличные. Я написал текст, и в тот же вечер телевидение выдало мой репортаж о Тюрине с полустанка Утени. На следующее утро мне позвонил Осипов:

— Старик, приезжай быстрее: тут по поводу твоего вчерашнего материала объявился один старый маразматик. Требует автора.

«Маразматик» встретил меня сцепкой гневных вопросов:

— Кого ты показываешь? Кого пропагандируешь? Кого восхваляешь? Кому поклоняешься?..

— Свежему ударнику коммунистического труда, — отпарировал я как можно спокойнее.

— Какому, к черту, ударнику! Это ж, знаешь, кто? Ординарец атамана Семенова! Заклятый враг Советской власти!..

— ...

— Мы думали, что он за кордон убег вместе со своим атаманом, а он вон куда пристроился... На дно залег... Честным трудом свои грехи хотел искупить... Не выйдет!

«Маразматик», оказавшийся активистом секции бывших красных партизан, выплеснув на меня разом бадью заготовленных филиппик, несколько поостыл и даже подобрел по отношению ко мне, поблагодарил за то, что я помог выявить замаскировавшегося врага.

— Теперь-то он от нас не уйдет, — потирая руки, сказал партизан. — Я уже в органы сообщил, так что, считайте, песенка его спета.

Этот нелицеприятный разговор поверг меня в уныние. Страха я особого не испытывал, поскольку времена бериевщины давно прошли, но для начинающего собкора ТАСС, каковым я был тогда, такой прокол мог стоить отрешения от должности. Из телецентра я рванул прямиком в областное управление КГБ к полковнику Никитину. Улыбка, с которой он протянул мне руку, дала надежду на благополучный исход инцидента.

— Знаю, знаю, зачем пришли... Все верно: был такой ординарец у Семенова со времен мировой войны. Сбежал от атамана, не пошел с ним в Маньчжурию — уже хорошо. Кровавых дел за ним не значится, следовательно, нет оснований привлекать старика. За давностью лет все ему прощено.

Слава тебе, Господи! Я так обрадовался, что осмелился задать полковнику не совсем тактичный вопрос:

— А вашему ведомству было известно, что Тюрин обитает в Утенях?

С уст чекиста, как мне показалось, готово было сорваться слово «нет», но он вовремя спохватился и ответил с загадочной улыбкой:

— Нам многое известно...

«БУТЕБРОТ»

Миша Забегай, завотделом писем нашей газеты, неизменно приходивший в редакцию за полчаса до начала рабочего дня, поджидал меня в коридоре.

— С кем я тебя сейчас познакомлю... — загадочно произнес он, кося глазами в открытую дверь своего кабинета. — Шампанское — за тобой!

На просиженном диване в настороженной позе сидел совершенно лысый старикан в выгоревшем брезентовом плаще времен первых пятилеток. При моем появлении он резво поднялся, расправил усы и молодцевато представился:

— Так что Чигирев, Пал Семеныч, младший кондуктор броненосца «Орел».

(В слове «кондуктор» он сделал ударение на последнем «о»).

— Этот товарищ — участник Цусимского сражения, — пояснил Миша Забегай. — Хочет поделиться своими воспоминаниями... Он, между прочим, георгиевский кавалер.

— Точно так, — подтвердил «Пал Семеныч» и отвел в сторону левый борт плаща. Мотнулся подвешенный на черно-оранжевой ленте начищенный до сияния серебряный крест.

— Пойдемте в мой кабинет, там и побеседуем, — предложил я, с трудом освободив от крепкого рукопожатия свою руку.

— Благодарствую, — ответствовал старик и, прихрамывая, устремился за мной.

— Ранение? — участливо спросил я.

— Не... Старость. Мне ж без году восемьдесят.

В кабинете я закрыл форточку, чтобы уличные шумы не мешали нашей беседе, помог Чигиреву снять несгибаемый

плащ, достал из стола стопку бумаги и приготовился слушать. «Пал Семеныч» не сел на предложенный мною стул, а подошел вплотную к моему столу и принял стойку «смирно».

— Начинать?

— Да-да, пожалуйста.

Старик перевел взгляд на висящую за моей спиной карту области и начал с места в карьер:

— На «Орле» отбили две склянки. Гул судового колокола не успел еще замереть, как раздалась знакомая мелодия утренней побудки. Это на верхней палубе заиграл горнист. Дул норд-вест на четыре балла. Эскадра шла девятиузловым ходом по курсу норд-ост...

Словно боясь не уложиться в жесткий регламент, «Пал Семеныч» проглатывал окончания слов и время от времени закрывал глаза. Я терпеливо слушал его, не решаясь прервать поток обрушившихся на меня слов, и силился вспомнить, откуда они позаимствованы этим чудаковатым «кондуктором». Ну, конечно, из «Цусимы» Новикова-Прибоя!..

Воспользовавшись небольшой паузой в рассказе старика, я попросил его сделать минутный перерыв, а сам рванул в редакционную библиотеку. К счастью, нужную книгу не пришлось долго искать: она стояла на верхней полке стеллажа, покрытая изрядным слоем пыли. Но это был только второй том романа. Я чертыхнулся и без особой надежды на успех раскрыл книгу на первой странице. Она начиналась словами: «На «Орле» отбили две склянки. Гул судового колокола...». И далее, как говорится, по тексту.

Держа за спиной книгу, я вернулся в свой кабинет и с видимым равнодушием задал вопрос Павлу Семеновичу:

— Вы книгу Новикова-Прибоя, случайно, не читали?..

Без тени смущения он простодушно ответил:

—А как же, обязательно читал. И много раз.

— Так вы мне, значит, всю книгу решили пересказать?

— Зачем всю? На всю времени не хватит. У меня обратный билет на полтретьего взят, а надо еще в хозмаг заскочить — за шпингалетами.

— Но, позвольте, — возмутился я, — ваши воспоминания — это же форменный грабеж писателя! Я-то думал, что вы свои личные впечатления будете излагать, то, что своими глазами видели, что пережили.

— Я так и делаю.

— Нет, это вы слова Новикова повторяете.

— Ну и что?.. Он все правильно описал. Без фальши и складно. Ученый человек! У него и слова-то подобрались — одно к одному, как тут и стояли. А я — мужик деревенский, только и учился в церковно-приходской школе. Нечто могу с ним тягаться?..

— Зачем же обязательно тягаться. Он по-своему написал, литературным слогом, а вы своими словами рассказывайте.

— Своими? — усмехнулся Павел Семенович. — Своими-то я такого нагорожу тебе!.. Да и зачем это надо, когда о том же самом уже написано и очень даже прекрасно.

Я, конечно, с моими примитивными аргументами не мог разубедить старика. На каждый мой довод он отвечал своим, гораздо более резонным, по его мнению. И тем не менее по моей настойчивой просьбе он все же согласился продолжить рассказ своими словами, но после нескольких бессвязных фраз автоматически перешел на текст Новикова-Прибоя. Сам это понял и замолчал.

— И что же будем делать? — спросил я.

— Вот уж не знаю, — вздохнул Чигирев. — А школьникам дюже нравится... Меня ведь каждый год приглашают к ним в классы, просят про Цусиму рассказать.

— И вы вот так же...

— Конечно! Ребята с открытыми ртами слушают. Да и учителя — тоже. Это ведь они посоветовали написать вам в газету. А чего я буду писать — сам взял да и приехал. Вот — рассказываю, а вам не нравится. Еще до самого главного не дошел, а вы уж того... критику наводите... Вот побывали бы там сами... Думаете, зазря георгиевские кресты давали?.. Да чего там говорить!.. Только даром день потерял.

Павел Семенович подхватил на руку плащ и, не попрощавшись, вышел. Я только и успел крикнуть:

— Да погодите вы!..

— А ну вас! — донеслось в ответ.

Минут через пять явился озабоченный Забегай.

— Чем это ты ему не угодил? Он тебя, знаешь, как назвал? Бу-тер-бро-дом!

— Это как же понимать?

— А черт его знает. Это, говорит, не писатель у вас там портки просиживает, а настоящий «бутеброт» с хреном!

Да, велик и могуч наш русский язык...

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Монолог соседа

Не так умна собака, как ее малюют на стенах пещеры.

(Из неандертальского фольклора)

Женился мой приятель Вася...

А она — эта миниатюрная дамочка — в качестве приданого привела в его квартиру свою семейную реликвию — здоровенного бульдога с научно-познавательной кличкой — Димедрол. Вася, бедный, до сего дня не может запомнить это медицинское словечко. То Дермантином его обзовет, то Динамитом, а то и вовсе Дарданелой какой-то...

Зря клепать на животное не стану — ученый пес был. Диплом с отличием об окончании курсов служебного собаководства имел и четыре медали на шее — вроде как полный кавалер. Ну и в связи с этим — зазнайство. Васю, бедного, в грош не ставил. Ну не обидно ли за товарища! Три года содержал Димедрола в своей квартире. Одной жратвы извел на него вагон. За это время змею очковую приручить можно. А Димедрола — ни в какую!..

Так бы, может, и свыкся Вася со своей горькой судьбой, да конфуз тут однажды случился. Не конфуз, а настоящее позорище.

Позвонил как-то мне Василий в субботу и говорит: «Жена на дежурстве, приходи — вспомним холостяцкую жизнь. Кстати, и собачку нашу посмотришь. Богатырь! Ричард Львиное Сердце!»

Я, разумеется, отозвался. Прибег мигом — звоню. Слышу за дверью — прокуренным басом: «Гав! Гав!..» Вася кричит: «Погоди, сейчас я его в нужник запру!» Минут пятнадцать прождал я на площадке. Наконец появляется Вася — взлохмаченный, красный, словно из парилки.

— Извини, — говорит, — очень любопытная псина, жаждет со свежим человеком в контакт вступить — еле упрятал. А если ты посмотреть хочешь на Дарданела — пошли в ванную, оттуда через окно сверху взглянуть можно.

— Да ну его к бесу, — отвечаю, — я к тебе не на смотрины пришел. По мне вообще его хоть не будь...

— Ну, это ты зря, — вступился Вася. — Собака в доме — великое благо: и защита, и собеседник, и все что хочешь...

Уселись мы по старинке на кухне и, не торопясь, углубились в беседу. Одну бутылочку разрешили, за вторую принялись. А разговор у нас все вокруг одной собачьей темы вертится.

— Трудно тебе, Вася, — говорю. — Ох, трудно... Сочувствую.

— Это почему же? — храбрится Василий. — Диназавер — мой друг.

— Ой ли, — сомневаюсь, качая головой. — Извини меня, но не могу поверить.

— Значит, не веришь? — переспрашивает, поднимаясь с табурета, приятель.

— Вася, не дури! — прошу я.

— Не вер-ришь? — повторяет Василий и, отворив дверь туалета, приглашает Димедрола на кухню.

Я ноги поджал под табурет и по системе йогов внушаю себе спокойствие. Пес подошел ко мне. «А ну, — говорит, — дыхни!» Нет, это не пес сказал, а Вася. Я дыхнул, а Димедрол как лязгнет зубищами возле моего носа! У меня все внутри так и оборвалось.

— Вася, — говорю, — ради прежней дружбы — убери! Ведь не понимает он шуток — того и гляди в горло вцепится.

— То-то, — говорит Василий и, повернувшись к Димедролу, командует: — «Фу!» Это значит: «Отстань от человека!» — объясняет мне Вася. — А если я скажу: «Фас!», то он нападет на тебя, как на бандита или диверсанта.

Как услышал кобелище слово «фас», — не раздумывая, прыг мне на плечи. А много ли выпившему человеку надо?.. Ветер дунет — свалит. А тут килограммов восемьдесят навалилось. Ну я, конечно, вместе с табуретом сыграл на пол. Димедрол мне на грудь, как гладиатору, поставил одну лапу и ждет дальнейших указаний.

А Вася сам перепугался из-за такого неожиданного оборота, побледнел и молчит. Я ему говорю:

— Ты не волнуйся, главное... Дай ему команду, чтобы он от меня отстал.

Начал Вася лепетать какие-то малопонятные слова, вроде: «фикс», «фукс», «кекс»... А потом обращается ко мне:

— Прости, если можешь... Забыл я все команды. Память отшибло.

А мне это, сами понимаете, обидно. Что же получается?..

— Мое дело маленькое, — говорю. — Умел натравить — умей и освободить. Мы, слава богу, не в джунглях Америки.

— Постой, —отвечает Вася, — я сейчас словарь иностранных слов принесу. Может, при его помощи объяснимся с собачкой. Только вот ты неудобно лежишь — дверь загородил. Можешь подвинуться?

Попытался я сдвинуться, да где там!.. Лучше бы и не рыпался... Затаился, жду. И вдруг приходит мне в голову счастливая мысль: сказать собачке что-нибудь на иностранном языке. Как-никак животное с дипломом. Может, поймет. Правда, запас таких слов у меня небогат, но кое-что из пятого класса еще помню. Лежал, лежал я, да как гаркну наугад:

— Гутен таг!

И что вы думаете?! Соскочил с меня Димедрол — и на Васю! Повалил моментом. Лежим мы в разных углах, переговариваемся.

— Чего это ты ему такое сказал? — интересуется Василий.

— Да так, ничего особенного, — отвечаю. — Вроде как поздоровался.

— А еще чего можешь?

— Могу сказать «до свидания» по-немецки.

— Валяй, — разрешает Вася.

— Ауф видер зеен! — кричу Димедролу.

Он спрыгивает с Васи — и опять на меня. Я — рот на замок, лежу. Тише воды. А Вася тем временем по-пластунски — к окну. Только за батарею ухватился, чтобы забраться на подоконник, — Димедрол цап его за штанину — и волоком на прежнее место. Опять, значит, лежим в безмолвии. Наконец Вася предлагает:

— Давай, чтобы не терять даром время до пяти часов, продолжим нашу беседу.

— Почему до пяти? — спрашиваю.

— В пять жена с дежурства вернется — освободит.

— Эх, — говорю, — Василий, не знал я, что пригрел ты на свою зарплату такую мерзкопакостную тварь!.. Я, конечно, не жену имею в виду, а собаку. И не возражай мне, уж теперь-то я точно знаю, какой она тебе друг.

Слышу, всхлипнул Вася. Немного погодя интересуется:

— Не знаешь, где яду «кураре» достать?

— Насчет этого, — отвечаю, — не в курсе, а вот живодера толкового могу порекомендовать. Потому что от жены терпеть, особо ежели выпивши, — куда ни шло, а от собаки — пусть даже она с образованием и четырьмя медалями — это, я считаю, ниже человеческого достоинства.

Очень хорошо и проникновенно поговорили мы тогда с Васей. До половины одиннадцатого. Потому что у его супруги, оказывается, в тот вечер был культпоход в филармонию. И пока она там наслаждалась музыкой Шопена, мы успели выработать единую точку зрения на беспривязное содержание скота в домашних условиях и осудить тех, кому это доставляет удовольствие и всякие жизненные блага. Только вот линолеум на полу был холодный — я после этого две недели с насморком ходил.

ШИЛО В МЕШКЕ

— Имею для вас интересную тему... — сказал мне по телефону знакомый начальник отдела перевозок аэропорта. — С первого февраля у нас вводится рейс на озеро Окуневое... Специально для любителей подледного лова.

Мысль моя сработала молниеносно, как кассовая машина в магазине, и выдала готовый заголовок для будущего репортажа — «С пешней сквозь облака». Часом позже я уже сидел в кабинете начальника отдела перевозок и уточнял детали: количество самолетов, расписание вылетов, стоимость билетов и прочее. Одновременно я заручился твердым обещанием начальника забронировать для меня место в самом первом самолете «рыбацкого» рейса.

Когда сотрудники отдела перевозок обратились ко мне с просьбой помочь им составить текст броского объявления для газет и радио, я тотчас принялся отговаривать их от широкой рекламы. Вполне будет достаточно парочки скромных объявлений в городском агентстве и на аэровокзале. Иначе, чего доброго, может случиться конфуз: рыбаков-подледников в нашем городе не одна тысяча, и смешно было бы предполагать, что они упустят случай в первый же день воспользоваться услугами Аэрофлота. Как бы не сесть авиаторам в лужу со своими малогабаритными самолетами!..

Конечно, в своих советах я руководствовался отнюдь не интересами Аэрофлота. Мне надо было воспрепятствовать широкой огласке предстоящих рейсов, чтобы дать как можно меньше шансов своим коллегам из газет и радио пронюхать о новинке.

И вот наступило первое число. Я приехал на аэровокзал за час до вылета с билетом в кармане. В зале ожидания среди других пассажиров тотчас узнал рыбаков. Узнал по тулупам

и полушубкам, по рундучкам и пешням, спрятанным в чехольчики.

Не теряя времени, я тут же решил завести знакомство со своими попутчиками, вынул блокнот и подошел к одному из них.

— На Окуневое?

— Хотел бы, — вздохнул человек в полушубке. — Да вот досада — на сегодня все билеты заранее проданы.

— Ничего не поделаешь — наплыв, — сказал я, разводя руками, и обратился к другому рыбаку: — Значит, летим, папаша?

— Кто полетит, а кто и автобусом поедет, — недовольно откликнулся он.

И вдруг я услышал за своей спиной знакомый голос фоторепортера нашей «вечерки» Усынина:

— Привет, старик. Уж не за репортажем ли на Окуневое?

Мне ничего не оставалось делать, как сознаться.

Усынин почему-то страшно обрадовался такому ответу. Он проворно сунул мне в руки тяжелый кофр с аппаратурой и крикнул, выбегая из зала:

— Стой тут, сейчас я сюрприз сделаю одному типу!

Через минуту ко мне подошел смущенный Иннокентий Крышкин, репортер «вечерки», и невесело сунул руку. Усынин, выглядывая из-за его плеча, тараторил:

— Я ж тебе, Кеша, говорил: не будем мы монополистами этого материала. Разве от таких китов (он кивнул головой в мою сторону) шило в мешке утаишь!..

В это время голос из динамика пригласил пассажиров «окуневого» рейса выходить на посадку в самолет. Странное дело: никто из одетых в тулупы людей не тронулся с места. Мы недоуменно озирались по сторонам до тех пор пока взволнованный голос диктора не выкрикнул наших фамилий и не предложил немедленно садиться в самолет...

Десятиместный «лайнер» содрогался от хохота. Второй пилот несколько раз заглядывал в пассажирский салон и просил прекратить безобразия. Он не знал, что первым рейсом на Окуневое везет... одних журналистов, представителей всех газет, радио и телевидения нашего города, операторов кинохроники.

Каждый из них собирался сделать «эксклюзивный» материал о рыбаках, прилетевших самолетом на озеро. А рыбаков-то среди нас как раз и не было!

ПОТОМОК ПРОТОТИПА

На одной из фотографий 1904 года Л. Н. Толстой изображен с собакой. Умный взгляд черных очей, напряженная поза, свидетельствующая о готовности выполнить любой приказ хозяина, приподнятое правое ухо, чутко реагирующее на шорохи, которыми был полон окружающий Толстого мрачный мир реакции...

Кто же он, этот четвероногий друг великого писателя? Животное бессловесно. Оно не оставляет после себя мемуаров. И поэтому исследователи творчества Толстого не задумывались над тем, какую роль в литературном процессе писателя сыграл изображенный на снимке песик.

Вполне естественно, что такой великий психолог и знаток человеческих душ, каким был Лев Николаевич, не мог бы позволить фотографу запечатлеть себя на века в обществе какой-нибудь приблудной шавки. Несомненно, что эта собака (породу которой еще предстоит определить специалистам) прямо или косвенно влияла на мыслительный аппарат Толстого во время его работы над повестью «Хаджи Мурат», появившейся в тот же год, что и фотография.

Давайте вспомним пролог этого произведения. Гуляя по окрестностям своего имения (разумеется, в сопровождении верного пса), писатель обратил внимание на татарник. Тот самый чертополох, который и навел Льва Николаевича на мысль создать вышеназванную повесть.

Больше того, в первом варианте «Хаджи Мурата» есть беглое описание лошади, на которой герой повести пытается сбежать из русского плена в горы. У нее было ромбовидное белое пятно на лбу, точно такое же, как у собаки, изображенной на снимке. Этот, казалось бы, несущественный штрих наводит на мысль, что прототипом коня Хаджи Мурата в повести явился знакомый нам пес.

Не нарушая законов типизации, воображение Толстого перенесло некоторые характерные признаки реально существовавшей собаки на внешность копытного литературного персонажа. Этот прием, разумеется, ненов: еще великий Гомер наделил своего Троянского коня лисьими повадками.

Живы ли сейчас потомки изображенного на снимке пса? Кто они и где они? Найти ответы на эти вопросы, оказалось, нелегко. Мною были изучены родословные ста шестидесяти

трех собак, обитающих ныне в Ясной Поляне и окрестных населенных пунктах. Но опрошенные хозяева сообщили крайне неточные и разноречивые сведения, касающиеся предков своих домашних животных.

Оставалась последняя нитка поисков. Собака Толстого, кроме законнорожденных щенков, могла иметь значительное количество неучтенных потомков: собачья мораль не так строга к случайным интимным связям. Поиски увели меня сначала в Калужскую область, потом в Чечню, на остров Врангеля и наконец снова вернули в Москву. Круг замкнулся, так и не дав достоверного ответа.

И вот однажды, когда все надежды на положительный исход поисков были потеряны, случилось чудо.

Я сидел на скамье в тени деревьев Тверского бульвара возле памятника Сергею Есенину и размышлял о превратностях судьбы этого уникального поэта. Вдруг до моего слуха донеслись обрывки крупного разговора мужчины средних лет и седовласой старушки, сидевших на скамейке по другую сторону сквера.

— Я не могу отвечать за действия моей собаки, — говорила женщина. — У нее своя голова на плечах.

— А кто мне компенсирует стоимость испорченных продуктов? — гремел мужчина.

— А вам не следовало ставить свою сумку на землю: вы же прекрасно знаете повадку собак поднимать лапу при общении с незнакомыми предметами.

— Это повадка только скверных собак!

— Скверных?!. — Бабуся резво поднялась со скамьи и двинулась на собеседника. — Да какое вы имеете право! Да будет вам известно, что предки этой собаки жили в имении графа Толстого, и он сам занимался их воспитанием!

Эти слова ударили меня, словно электрическая искра. Я сорвался со своего места и сломя голову бросился через клумбу цветов к спорящим.

— Гражданин, будьте свидетелем! — обратился ко мне мужчина.

— Нет, это вы будьте свидетелем! — ответил я и, повернувшись к старушке, попросил ее еще раз повторить только что произнесенные слова.

Бабуся зарделась легким румянцем и повторила... Вручив мужчине денежную компенсацию за подмоченные продукты,

я тотчас увлек даму с собачкой в ее квартиру, находящуюся поблизости. И — о, радость! — первое, что я увидел на комоде, — это та самая фотография Льва Николаевича с собакой. Умные глаза, напряженная поза, приподнятое ухо... Заметив мой пристальный взгляд, устремленный на снимок, старушка с гордостью сказала:

— Вот прапрапра... короче говоря, пра — в восемнадцатой степени— дедушка моего несравненного Тобика.

...Нет, не бесславно прошли годы личных настойчивых поисков, не бесследно исчезли командировочные!

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

	Стр.
Как я попал в писатели	3
Вот такое кино...	7
Забытица	10
Борода Черномора	13
Рама	16
Жертва моды	22
Не было бы счастья...	25
Шанс	30
Кутерьма	32
Великая истина	35
Полиглот	41
За давностью лет...	43
«Бутеброт»	47
Друг человека	50
Шило в мешке	53
Потомок прототипа	55

Специальный выпуск «Литературной Костромы», издание писательской организации, 1996 г.

Общее и художественное редактирование — М. Ф. Базанков

Редактор — Е. А. Разумов

Издания Костромской областной писательской организации осуществляются в связи с принятой региональной программой изучения русской литературы. За справками можно обращаться по адресу:
156005, г. Кострома, пл. Конституции, 1.
Костромская писательская организация.
Телефоны: 57-21-91, 57-35-02.

Издание осуществлено при участии администрации г. Костромы и ТОО «Кондор»